

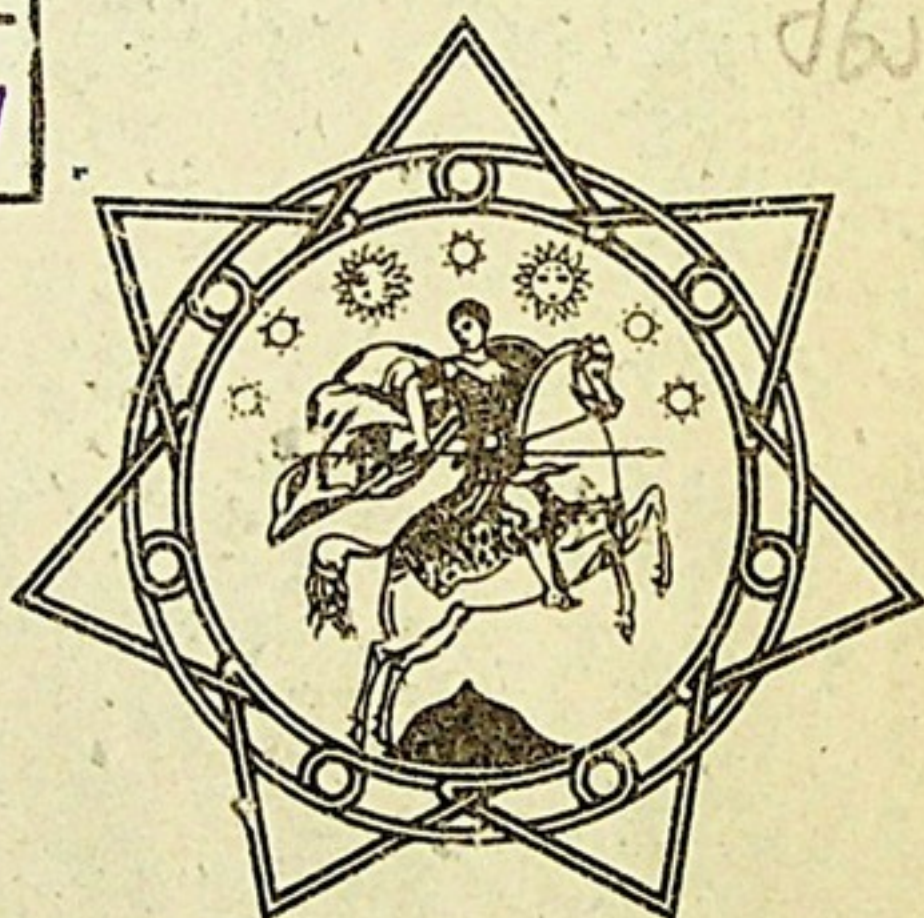


ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

10.335/
1991/4

260h





საქართველოს
წიგნების კავშირი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Стихи. Перевод Владимира Еременко	3
ДЖЕМАЛ КИРИА. Игра во взрослых. Роман. Перевод Нелли Солод	4
РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Стихи. Переводы Юрия Ряшенцева, Яна Гольцмана, Сергея Надеева, Ольги Белоусовой, Сергея Борисова	90
КАРЛО КОБЕРИДЗЕ. Два рассказа. Авторизованный перевод Лианы Хечуашвили и Валентина Дольникова	98
НОДАР АДЕИШВИЛИ. Стихи. Перевод Виктории Зининой	123
НАТАН БААЗОВ. Стихи	128

8

Издательство «Самшобло», Тбилиси
Журнал выходит с июня 1957 года

ДЖУЛЬЕТТА БИТ-КАПЛАН.	В изгнании.	
Рассказ		131
ЛЕВАН ЧЕЛИДЗЕ.	Стихи	158

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ВИКТОР НОЗАДЗЕ.	Борьба за восстановление территориальной целостности Грузии (Месхети). Окончание. Перевод Лианы Та-тишвили	161
------------------------	---	-----

ИСКУССТВО

ЭТЕРИ ГУГУШВИЛИ.	Спектакль о любви и коварстве	209
-------------------------	--------------------------------------	-----

КОНТАКТЫ

РОКСАНА АХВЕРДЯН.	«Я — Грузия, я — Родина твоя!»	222
--------------------------	---------------------------------------	-----


ИГРА ВО ВЗРОСЛЫХ

РОМАН

Зовут меня Никанор, фамилия — Бжалава. Вообще-то в документах я записан: Нико, но как-то давным-давно Куцна Чедия, чтобы поддеть, назвал меня Никанором, а мне имя понравилось. Так оно и прилипло ко мне. Никанор и Никанор... Кто наделил меня фамилией — не скажу. Не знаю. Но фамилия моя мне нравится, даже очень. Бжалава называют в сказках детей солнца*, так мне уж тем более не пристало привередничать. Родился я примерно двадцать три года назад, и, наверное, весной. Почему именно весной?.. Характер у меня такой, настроение то и дело меняется, как погода по весне... Поэтому я и говорю, что утверждать что-либо наверняка не могу. Можно ли быть убежденным в чем-то, если не знаешь даже, вышел ли ты из морской пены или возник из луча солнца... Однажды — мне было тогда лет двенадцать — наша пионервожатая Цисия Девдариани попросила меня написать «автобиографию». Написать можно было двояко. В первом варианте мне хватило бы четырех слов — «Вероятно, родился, кажется, живу». Во втором — надо было писать и писать. Жил так себе! Как человек, брошенный всеми в дождливую, холодную погоду... Сидишь себе один и, если что тебя и греет, так только мечта о синих просторах, где плавает на хрустальном корабле твой несуществующий отец, Большой Никанор...

Печатается журнальный вариант.

* Бжа — по-мегрельски солнце (здесь и далее прим. переводчика).



И все же нельзя сказать, чтобы я был совсем уж недоволен своей жизнью. Далекие морские горизонты манили меня. И мечта моя осуществилась. Я окончил морское училище. Одно время плавал на каботажном судне. Хоть на день-два мы всегда заходили во все порты на пути между Батуми и Одессой. Я кое-что повидал, много узнал, но все мне было мало. Вот почему в один прекрасный день взял да и написал заявление в том духе, что я, дескать, птица дальнего полета и не подрезайте мне крылья! Меня спросили, поеду ли я на Дальний Восток... «Еще бы!» — сказал я. Посадили меня в самолет, облетел я чуть ли не половину земного шара и очутился во Владивостоке. Ощущение безбрежности пространства вызвало воспоминание о дне рождения Марихи.

У меня по копейке было накоплено несколько рублей, и я спросил, что ей подарить. «Подари мне земной шар», — попросила Мариха, и я купил ей школьный глобус. Мариха была счастлива. Она повертела вокруг оси этот земной шар в миниатюре, потом бережно накрыла ладошкой то место, где значился Тихий океан, и назвала его по-своему — «Умный океан»! Думал ли я тогда, что меня будет носить по волнам этого самого «Умного океана»!..

И вот уже остался позади залив Петра Великого, в легкой дымке тает окруженный зелеными сопками Владивосток. Солнце только взошло. Свободный от вахты, стою на палубе, наблюдая, как поднимается над горизонтом светлое зарево, к которому движется наш «Охотский», экспедиционное судно военного времени водоизмещением в три тысячи тонн. Каждое море имеет свой оттенок: Черное, например, отликает медным купоросом. А здесь преобладает серый цвет. Хотя, возможно, это потому, что еще очень рано. Чтобы дойти до мыса Южного, нам понадобится не меньше двух недель. Достаточно для того, чтобы выяснить, какого же цвета на самом деле Тихий океан. Пока же я стою на палубе и смотрю, как встает солнце. Неожиданно в памяти всплывает другая картина, видение из времен моего детства, когда я вот так же стоял на Никаноровом камне, как называли этот огромный, поросший мохом валун у самой кромки воды мои «одно-

домники», и смотрел на зависшее над западным горизонтом солнце... Мною вдруг овладевает непреодолимая печаль. Этот путь на восток все больше отдаляет меня от моего отрочества, возврата к которому не будет. До сих пор мне всегда казалось, что детство мое было безрадостным. А сейчас я вдруг понял, что нет у человека ничего дороже этой поры жизни. У меня возникает странное желание взять в руки перо и оживить на бумаге мое детство, хотя бы на короткое время вновь превратиться в двенадцатилетнего Никанора Бжалава, который по заданию пионервожатой Цисии Девдариани пишет свою «автобиографию...»

* * *

Я и теперь помню этот вой, от которого никуда не деться, хоть я и пытаюсь закрыть уши руками: «Ника-нор!»

...Возникший где-то вдали, на горизонте, поезд ускоряет ход, приближается... Все растет, увеличивается... И перестук колес по рельсам все оглушительнее... Огни, двумя гигантскими солнцами, разрывают темноту, слепят глаза, заливают беспощадным светом все вокруг.

А вокруг чистое поле, укрыться негде.

Хочу бежать, но не могу — ноги не повинуются, сердце колотится как бешеное.

А поезд все ближе, гул нарастает. Железные вагоны громыхают, будто врезаются один в другой, скрежещут, лязгают, исходят истошным воем: «Ника-нор!»

Я стискиваю руками виски, ноги подкашиваются от страха... Бежать, спрятаться!.. Поздно...

И тут меня осеняет, да ведь это и не поезд вовсе. Это Никаноров камень сдвинулся со своего места и катится на меня...

Земля оседает под его тяжестью, взметенный песок стоит столбом... Огромная глыба катится все быстрее, все явственнее издаваемый ею хриплый вой:

— Ника-нор!

Укрыться негде. Вокруг чистое поле. А камень все ближе, и вой все истошнее. В ушах у меня страшный звон, голова вот-вот лопнет... «Ма-ма!..» — в ужасе вскрикиваю я.

Ответа нет...

— Никанор! — Это уже другой голос, другое воспоминание.

В окно вливается солнце. Одинокая муха бьется о стекло. Я пытаюсь накрыть ее, но, еле живая, она выбирается из-под сжатой ладони и снова прилипает к стеклу.

— Никанор, ты что не слышишь? Оставь муху в покое.

— Сейчас, мама!

— Ох, Господи, что за несносный ребенок! — вспыхивает мама Тамара. Последнее время она вообще очень раздражительна. Но и отходчива, правда. Вот так покричит-покричит, потом вдруг затихнет, приложит руку к груди — «Ох, сердце!». А все потому, что живот давит — растет не по дням, а по часам. Еле ходит мама Тамара, вот сердце и не выдерживает.

— Никанор, ты что сердись мать? — В голосе папы Тариела прорывается сдерживаемый гнев.

— Сейчас, папа, вот только...

Мне смешно. Пойманная наконец муха бьется в моем зажатом кулаке, щекотно...

— Фу!..

На лице мамы Тамары отвращение. Папа Тариел смотрит холодно, и улыбка сползает с моего лица.

— Выпусти эту тварь немедленно и иди вымой руки! — приказывает мне мама Тамара и для пущей убедительности постукивает в такт словам вилкой.

— Иду, — покорно отвечаю я. Отправляюсь в ванную, разжимаю кулак и пристраиваю муху на край умывальника. Ничего, крылышки, кажется, целы! Муха действительно расправляет легкие прозрачные крылышки, трет их и ползет куда-то вбок. Видно, прохлада умывальника привела ее в чувство. Я открываю кран, подставляю под струю руки.

— Поторопись, мы уходим! — мама Тамара, приговаривая «орехи нынче кусаются», накладывает отцу на тарелку жареных баклажанов, заправленных вместо орехов майонезом. Сама она ни к чему не притрагивается. Аппетита нет!

Я усаживаюсь напротив папы Тариела. К баклажанам я не очень, но раз он ест, тоже кладу в рот кусок.

— Сперва поешь первое!

Мать ставит передо мной тарелку. Суп, да еще с перловкой! Она мне в детском доме осточертела! Но я не решаюсь прекословить и с шумом втягиваю в себя горячую жидкость. Потом все же подаю голос:

— Я столько не съем.

— Ничего, съешь. Нам далеко идти, надо хорошенько поесть!

Я молча хлебаю суп и размышляю:

— Куда это, интересно, далеко?

— Не чавкай так! — в сотый раз напоминает мне мама Тамара. — И хлеб не кроши, смотри — весь стол в крошках!

— Сызмальства не приучишь к порядку, потом — поздно будет! — замечает папа Тариел. Едим в молчании. Мама Тамара тоже отщипывает кусочек хлеба с сыром... Глаза у нее подозрительно блестят.

— Прекрати! — папа Тариел в сердцах бросает вилку.

Я весь съеживаюсь, откладываю ложку. Меня тянет обнять маму Тамару, но я не осмеливаюсь.

Я невольно чувствую себя виноватым, хотя в чем, не знаю. Тут откуда-то вылезает Цица, наша кошка. Она трется об ноги, жалобно мяучит, всем своим видом демонстрируя желание присоединиться к трапезе. Я украдкой бросаю ей кусок хлеба.

— Никанор! — строго произносит папа Тариел и пихает ногой Цицу. Та с воем мчится к двери. Я опускаю голову. К горлу подступают слезы.

— Никанор! — еще строже начинает папа Тариел и вдруг рявкает на мать: — Сколько раз говорить, чтоб убрала эту тварь!

— Вот сам лови мышей, тогда и уберу!

Папа Тариел ничего не отвечает.

Обед заканчивается в тягостном молчании. Папа Тариел берет бритву, начинает бриться. Я маюсь от безделья и опять подхожу к окну. С той стороны к стеклу прилипли сухие листья. При виде их мне становится грустно... Под жужжание бритвы я вспоминаю время, о котором говорят — «когда я был маленький...»

Мама Тамара с лязгом накрывает крышкой кастрюлю, выносит тарелки на кухню и начинает мыть их под

краном, что-то ворча себе под нос. Вода шумит, тарелки звякают, мерно жужжит бритва.

«Когда я был маленький, я родился в море!»

— Ты что-то сказал? — окликает меня мама Тамара, вытирая полотенцем руки.

— Ничего!

Жужжание бритвы обрывается. Папа Тариел надувает щеки, проводит по ним рукой, мне становится смешно....

Море!.. Оно навсегда осталось в памяти синим-синим. Достаточно закрыть глаза, прошептать «море!», и вот я уже сижу на Никаноровом камне. Передо мной простирается бескрайнее синее пространство, лениво колышутся волны. Обычно я долго-предолго сижу на камне, чего-то жду... Чего?.. Вот на далеком горизонте появляется белый корабль, медленно проходит стороной... Вот чайки качаются на волнах, выскакивают из воды дельфины... Мой последний день... Я прощаюсь с морем. Сижу на своем камне так долго, что начинает казаться, будто меня вообще уже нет — растворился в окружающей синеве... Вот из морской пены выходит золотоволосая фея... Ее глаза вспыхивают синим огнем. «Мама!» — вскрикиваю я.

— Чего тебе? — недовольно отзывается мама Тамара.

— Ничего!..

Тамара и Тариел Гулисашвили возникли в моей жизни неожиданно — как с неба свалились...

Был унылый дождливый день. И все вокруг казалось тоже унылым и тоскливым. Хотелось плакать, хотя вроде бы было не с чего. Оконное стекло запотело, и я протер его рукой. Стали видны струи дождя, грязный, весь в лужах, двор и нахохлившиеся деревья...

Вдруг дверь рывком открылась, в комнату влетел... Кто же это был? Кучуна Цкипуришвили, рыжий Отойя или кто-то еще? Не помню... «Никанор, за тобой пришли!».

Что такое? У меня вдруг будто выросли крылья. я отрываюсь от пола, налетаю на стены, как птица на прутья клетки, не могу попасть в дверь...

В конце коридора стоит мужчина, руки протянуты мне навстречу... Бегу к нему, да что там бегу — лечу...

«Оп-ля!» — Мужчина ловит меня и подбрасывает в воздух... чуть ли не до потолка... Тут меня и осеняет... Я ищу глазами и вижу женщину...

— Мама!

— Никанор!..

Оба уже принаряжены. На маме Тамаре — новое широкое, балахоном, платье, в другие она уже не влезает. Папа Тариел в черном торжественном костюме, при галстукке. В такую-то жару! Галстук пестрый, с какими-то бабочками, затянут тугим узлом.

Он окидывает меня оценивающим взглядом: — хоть бы причесался, что ли!

Мама Тамара достает из сумочки гребешок, приглаживает мне вихры... Зубья расчески застревают в волосах... больно... но я терплю!

— Ну и щетина! Никакой гребешок не выдержит! — ворчит она.

— Куда мы идем? — Я вырываюсь из ее рук.

— В цирк! — оскаливает большие, лошадиные зубы папа Тариел. Это он улыбается, и моей грусти как не бывало. Я скачу вниз по лестнице на одной ножке и во весь голос распеваю:

— Едем в цирк! Едем в цирк!

— Угомонись! Какой там цирк! — всплескивает руками мама Тамара.

Я затихаю.

Усаживаемся в машину. Я лезу, как обычно, на переднее сиденье, но папа Тариел делает мне знак — садись сзади, рядом с матерью!

Я не спорю.

Машина трогается с места, и в окна врывается ветер.

Я расправляю крылья и взлетаю. В машине со мной всегда так. Зажмурю глаза, раскину руки, ветер подхватит меня и понесет в синее пространство.

— Никанор, уймись! Подними стекло, дует!

Я послушно поднимаю стекло. Становится душно. Только через переднее окно проникает легкий ветерок, ероша тщательно зачесанные волосы папы Тариела.

Исподтишка рассматриваю его. Грузный мужчина папа Тариел, дышать ему трудно, он сипит, на лбу выступает пот, короткие толстые руки свободно держат

руль, машину ведет уверенно, и я чувствую себя в безопасности, словно неприступная скала отгородила меня от страны, где обитают чудовища... Это мой папа!

Отец!.. С его появлением образ Большого Никанора как-то потускнел, навещает меня все реже и реже... Мне нравятся даже сами имена — Тариел и Тамара. Ведь Тариел — олицетворение мужества, а Тамара означает чистоту... Да и фамилия у них такая недаром, — Гулисашвили*, сразу видно — сердечные люди... Только много лет спустя, я, матрос Никанор Бжалава, начинаю соображать, что фамилия, да и имя ничего не значат... А тогда... Папа Тариел смотрит вперед, в зеркальце виден только кусочек лба. Стараюсь усесться так, чтобы поймать его взгляд... Кажется, удалось... Я смотрю в глаза папе Тариелу, но они ничего не говорят мне, в них отражается только заасфальтированная дорога.

Мама Тамара, крупная, полная женщина, сидит, откинувшись назад. Широкое лицо выражает умиротворение, хотя в маленьких, глубоко посаженных глазках временами мелькает что-то колющее. Мне вспоминаются первые дни — безоблачное, всеобъемлющее счастье... Мама Тамара моет меня в ванной... Из всех сил трет грудь, спину. Мне непривычно и стыдно, но я покорно терплю. Дверь из ванной приоткрыта, оттуда виден папа Тариел... Он читает газету и время от времени поглядывает в нашу сторону. От горячей воды, мочалки и стыда я весь покрываюсь краской, пытаюсь укрыться в мыльной пене, но ласковые и сильные руки мамы Тамары вертят меня, как хотят. Потом она заворачивает меня как маленького в большое махровое полотенце и несет к пышной белой постели... Глубокой ночью я просыпаюсь, головой на мягкой руке мамы Тамары... Она мирно посапывает, и меня охватывает чувство покоя...

Растроганный этим воспоминанием, я прижимаюсь к маме.

— Отодвинься, и так жарко! — Голос недовольный, чужой.

Я не понимаю причины ее недовольства, и от того появляется какое-то неприятное предчувствие, серд-

* Гули — по-грузински сердце.

це сжимается... А по сторонам мелькают дома, плантации, все будто одинаковые и в то же время такие разные... Эх, мог ли я тогда предположить, что меня предадут так вероломно! Мне бы и во сне такое не приснилось... На мгновение показалось, что я уже бывал в этих краях, что-то в них такое знакомое.

— Куда мы едем? — спрашиваю я с замиранием сердца.

Папа Тариел не оборачивается. Вопрос будто натывается на глухую стену. Мама Тамара сидит нахмуренная, плотно сжав губы.

В горле у меня стоит ком, я тупо смотрю в окошко.

Где-то впереди, за крышами домов мелькают знакомые верхушки деревьев. Из-за поворота, где дорога идет под уклон, вдруг выступает крутой склон скалы... той самой, нашей, Верасулы.

Меня осеняет догадка.

В груди будто что-то обрывается, голова кружится, я куда-то уплываю, сердце проваливается...

Это продолжается довольно долго. Я вижу только спинку переднего сиденья. На пестрой обивке то мелькает луч солнца, то залегают глубокие тени. Чуть слышно гудит мотор.

Потом машина замедляет ход и останавливается, чуть не уткнувшись носом в плакучую иву у ворот дома Дианоза Верулава, директора нашего детского дома, самого уважаемого и дорогого для меня человека. Я поднимаю голову, оглядываю темные кусты чая, выстроившиеся в ряд по ту сторону дороги.

«Он» вытаскивает сигарету, достает зажигалку. Я с удивлением замечаю, что его сильные руки слегка дрожат и прикурить удастся не сразу. — Нашел время дымить! — сердито восклицает «она».

«Он» медлит с ответом, бросает взгляд в сторону плантации и только потом произносит:

— Сказала бы ему!

— Почему это я должна говорить, у тебя что, языка нет?! — «Она» отворачивается.

«Он» вздыхает, швыряет недокуренную сигарету в окошко, грузно поворачивается всем телом, при этом от сорочки у него с треском отлетает пуговица.

— Никанор! — Голос хриплый, слова будто застревают в горле.



Я весь съеживаюсь.

— Никанор! — «Он» берет себя в руки, в тоне появляется металл: — Ты уже не маленький, должен понять! «Когда я был маленький!..» — ни с того, ни с сего проносится у меня в голове, и я медленно погружаюсь в белый туман... Куда-то падаю, а издали до меня все же доносится, как эхо, чей-то знакомый и уже чужой голос:

— Видишь ли... Мы... то есть я и она — тебе не родные. Понимаешь?.. Вот так-то!

Что-то взрывается у меня в ушах... Слышен нарастающий гул... Это Никаноров камень сдвинулся с места и покатился со страшным грохотом... От этого грохота у меня лопаются виски: «Ни-ка-но-ор!»

* * *

Не знаю, сколько времени продолжался этот гул. Мне казалось, что я кричу — «Мама, мама!», — но голоса не слышно. Удивительно, в трудную минуту человек всегда зовет мать, даже если никогда ее не видел.

Но вот гул постепенно затих, Никаноров камень исчез с глаз. — Приходит в себя! — услышал я чей-то шепот и чуть-чуть приподнял веки. Страшное ощущение — как будто я смотрю через увеличительное стекло, предметы изменили форму: белый потолок прогнулся, а фигура нагнувшегося надо мной доктора колыхается, словно отраженная в воде.

Я делаю усилие, чтобы прийти в себя.

— Никанор, мой мальчик, тебе лучше? — узнаю голос Мавры, нашей фельдшерицы. В глубине комнаты теснятся какие-то тени. Вроде бы Дианоз Верулава, а с ним какие-то женщины, незнакомые. Все в накиннутых белых халатах и тихо шепчутся между собой.

«Наверное, умираю», — думаю я и чувствую, как по щеке скатывается слеза.

— Не бойся, дорогой, мы все здесь, с тобой! — Голос у Мавры грудной, воркующий, она будто извиняется передо мной за что-то.

Я закрываю лицо руками и отворачиваюсь к стене.

— Сердишься? — огорченно спрашивает Мавра. Я не отвечаю, мне трудно говорить, хотя в голове прояснилось и я кое-что вспомнил.

.. Когда это было? Сколько времени прошло с тех пор?.. Я будто вновь слышу сиплый мужской голос: «Чокнутый он у вас какой-то!». Слово повторяется вновь и вновь — чокнутый, чокнутый, чокнутый... «Ну чокнутый, ну и что!? — думаю я. — Тебе-то что за дело?».

— Хватит, мой мальчик, перестань! — Мавра кладет мне на голову теплую, мягкую, как свежее испеченная булка, руку.

Я замираю, делаю вид, что сплю, а Мавра все гладит меня по голове и что-то ласково приговаривает, приговаривает...

Я действительно заснул, и сколько спал, не знаю. Видно, долго... Когда открыл глаза, за окном уже было темно. Под потолком тускло мерцала лампочка. Я осмотрелся. В комнате были еще кровати, на них спали дети. Я вытянул ногу, нога уперлась во что-то...

На моей кровати кто-то сидел.

Я вгляделся. Мавра! Положив ноги на стул, а голову на железные прутья изножья кровати, она громко посапывала.

Боясь пошевелиться, я долго смотрел на нее. Колени прикрыты черным головным платком, седые пряди свисают на лицо... Такое чувство, что она сидит так уже не первую ночь. Почему? Что заставляет ее, чужую женщину, проводить ночи вот так, скорчившись на моей постели.., когда те, чьим сыном я считался, отреклись от меня?! Я долго думал об этом, судил и так и эдак, но ни к чему не пришел и снова провалился в сон...

Разбудил меня солнечный свет. Мавры не было, и мне сразу стало беспокойно.

Она появилась часа через два. С кастрюлей куриного бульона. Уселась на постель, начала по своему обыкновению приговаривать. Ласковые слова перемежались проклятьями, впрочем, беззлобными:

— Не расстраивайся, дорогой... Не стоили они тебя... Пусть им радости не будет в жизни! Вот народится у них такая же обезьяна, как они сами, пусть ее и растят...

При этих словах Мавры меня осенило. Вот оно в чем дело! У них будет свой ребенок, конечно, зачем я им тогда! Я отвернулся к стене.

Через некоторое время слышались какие-то хлюпающие звуки. Это плакала Мавра. Я повернулся, но ее не было рядом. Закрыв лицо необъятным носовым платком, она почти бежала к двери.

Я хотел окликнуть ее, но что-то меня остановило, и я даже знал — что: недоверие. Я стал подозрительным и не очень верил теперь в бескорыстную доброту.

На третий день Мавра снова навестила меня. Пришла, как ни в чем не бывало. Я взглянул ей в глаза.

— До чего исхудал, бедняга, один нос торчит! — запричитала Мавра.

— Да, — невпопад ответил я.

Мавра, видно, не очень-то поняла, к чему относится это мое «да», но обрадовалась уже тому, что я подал голос. Она засуетилась, уселась у моих ног и, не зная, чем развлечь меня, принялась без передышки излагать детдомовские сплетни.

После ее ухода я первый раз поднялся с постели. От слабости кружилась голова. То и дело приходилось хвататься за стену. Коридор, в конце которого помещалась уборная, был длинный, двери в палаты открыты, и оттуда с любопытством поглядывали на меня другие больные. Я еще никого не знал и чувствовал себя довольно неуютно.

Над умывальником висело мутное, все в пятнах, зеркало. Я взглянул на себя. С трудом различая изображение, с удивлением принялся рассматривать свою бритую голову. Как же это меня обрили, что я и не почувствовал? И, видно, давно! Чуть отросшие волосы торчат, как у ежика... Щеки впали, скулы выпирают. Действительно, один нос торчит...

Сколько же времени я проболел? И что со мной было? Вроде бы ничего серьезного, а сил совсем нет. И ведь просвечивали меня, сказали — легкие чистые, сердце нормальное, с желудком и кишками тоже все в порядке... Сколько их тут есть, врачей, — все до единого меня переслушали, перестукали — и по спине и по груди... А заодно и угощали — кто конфету вынет из кармана, кто яблоко сунет. Может, это меня и спасло.

Тетя Мавра навещала меня каждый день. И обязательно приносила какие-нибудь гостинцы — то фрукты, то печенье. Жалела меня! И я ее жалел! Все хотел

сказать — не приходите, вам трудно! Но не мог, боялся, что прозвучит фальшиво. Ведь я так всегда ее ждал! А ходить Мавре действительно было тяжело. Казалось, отекающие, все в синих узлах вен ноги не выдерживают тяжести грузного, расплывшегося тела. Если поблизости не было посторонних, она, усевшись, поднимала ноги на стул или на краешек другой кровати и долго переводила дух. Лоб ее был покрыт бисеринками пота, из груди вырывались еле слышные стоны. Она снимала с головы черный сатиновый платок, утирала им лицо и снова повязывала голову, торопясь прикрыть раннюю седину... Я знал о ее горе, мне хотелось утешить ее, но слов не находилось... Странное все же существо человек: чужая боль будто утишает собственную, чужое горе облегчает свое...

День ото дня мне становилось лучше. Вернулись силы, отросли волосы, на сердце стало спокойнее. Воспоминания о «них» уже не причиняли мне прежней боли, разве что кольнет сердце обида. Мысли мои приняли другой оборот, и однажды я на полном серьезе сказал:

— Тетя Мавра, знаете, за что меня Бог наказал?

Она взглянула на меня с удивлением.

— За то, что я предал Большого Никанора!

Тетя Мавра вытаращила на меня глаза. Она ведь слыхом не слыхивала ни о каком Никаноре, а переспросить не решилась... По ночам, лежа без сна, я закрывал глаза и представлял себе белые пенистые гребни волн, играющих дельфинов и тот первый осознанный мною миг, когда я родился из морской пены и луча солнца.

* * *

В пятницу меня выписали. За нами приехал дядя Элефтер на своей синей «Ниве». Они с тетей Маврой жили поблизости от «Радости» и в ту ночь оставили меня у себя. Всю дорогу я сидел молча, почему-то было неловко. В руках дяди Элефтера руль казался игрушечным, и вообще было такое впечатление, что машина для него мала, что при желании он поднимет ее и с легкостью понесет.

Когда мы приехали, дядя Элефтер остался возиться с машиной, а тетя Мавра ввела меня в дом. Мы

поднялись на второй этаж, вошли в гостиную. Тетя Мавра тяжело опустилась на стул, положила руки на колени и тихо заплакала.

— Взгляни, Никанор, взгляни на моего ненаглядного!

На широкой стене висела цветная фотография в полный рост. На ней, стоя на лужайке перед домом, улыбался Амиран, сын Элефтера и Мавры. Он был в красной распахнутой на груди сорочке, в узких джинсах, руки в карманах, вернее, даже не руки, поскольку они в карманах не помещались, а лишь большие пальцы. Улыбался он слегка высокомерно. Видно было, что парень знает себе цену. Вся его фигура излучала столько силы и радости, что трудно было поверить, что его уже нет в живых. Я оглядел комнату. Все стены были обвешаны изображениями Амирана, большими и маленькими. Целая семейная галерея!

— Видишь, Никанор, какое горе у нас! Незачем нам теперь жить! — Голос у тети Мавры совсем сел от слез, слов почти не разобрать.

На покрытой ковром тахте разложен вычищенный, выутюженный, словно ожидающий хозяина, выходной костюм Амирана... Здесь же заботливо сложены сорочки, галстуки, на полу — туфли, ни разу не надеванные...

От этой горестной выставки мне стало жутковато, закружилась голова. Я отошел от тахты. Было такое чувство, что вот сейчас костюм встанет во всем своем выутюженном великолепии, сунет штанины в туфли, повяжет галстук и пойдет гулять по комнате.

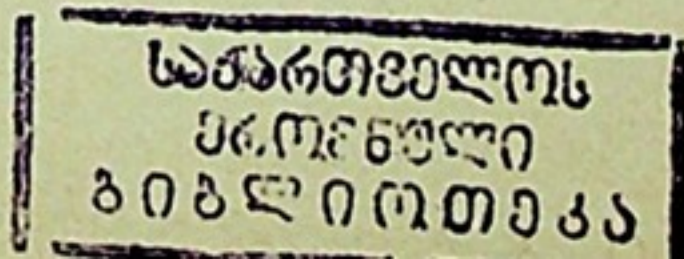
К счастью, в этот момент внизу стукнула дверь. Это дядя Элефтер подавал знак — хватит, мол, надирать сердце, спускайтесь вниз, пора обедать.

Тетя Мавра спохватилась, скоренько утерла слезы. Чтобы подняться на ноги, ей пришлось опереться о мое плечо, но уже через минуту она превозмогла боль и по лестнице спускалась бодрым, легким шагом.

Дядя Элефтер сидел у жестяной печки, протянув руки к весело гудящему огню.

Я примостился у дверей. В этом доме везде витал призрак Амирана, и я не знал, где мне можно сесть так, чтобы не занять его место.

Тетя Мавра, угадав мою нерешительность, легонь-



ко подтолкнула меня к табуретке, а сама начала хлопотать у стола, не переставая шептать что-то себе под нос, а что, было не разобрать — казалось, она издаёт бессмысленные звуки лишь для того, чтобы заполнить чем-то живым этот не только давно опустевший, но и замолкший дом... Дядя Элефтер вздохнул так, будто у него разрывалось сердце. Потом поднял голову и посмотрел на меня незнающим взглядом — словно впервые увидел. Может, он забыл, кто я и почему здесь? Мне показалось, что я читаю в его глазах немой вопрос.

Я весь сжался — куда бы укрыться? Но укрыться было негде.

На мое счастье в комнату заглянул сосед — шелде мимо, увидел свет и решил узнать, как вы тут. Это был пожилой человек, на подбородке у него пробивалась седая щетина. Чем-то он напоминал разбойника с большой дороги, но я так обрадовался его появлению, будто оно могло спасти меня от неведомой опасности. Он потрепал меня по волосам и придвинул стул к печке, приговаривая, что природа совсем сдурела, давно пора быть зиме, а она и не думает являться.

Глаза у дяди Элефтера слегка оживились, но и это оживление проглядывало сквозь ту же застывшую плену печали. Они завели разговор о погоде: если так и дальше пойдет, весна будет поздней, опоздаем с севом, а значит, и урожай снимем плохой. В прошлом году в это время ткемали давно уже был собран.

Продолжая беседовать, мужчины подо двинулись к столу. Я тоже примостился с краю, рядом с тетей Маврой. Меня клонило в сон, свет, отраженный в стаканах и тарелках, резал глаза, разговор взрослых доходил до слуха как бессвязное журчание ручья. Не было сил положить кусок в рот. Я приходил в себя, лишь когда тетя Мавра касалась моего плеча и ласково говорила: «Ешь, дорогой, ешь!» Мягкое прикосновение руки и ласковый голос были приятны, я пытался взбодриться, но дремота снова одолевала меня, и вскоре я уснул. Во сне передо мной раскинулась необозримая голая степь. Откуда-то из ее нутра появился огромный валун и с грохотом покатился прямо на меня.

Я в ужасе открыл глаза.

Сосед, опустив голову, внимательно рассматривал свой стакан. Дядя Элефтер сидел с каменным лицом. В руке его был стакан с переливающейся янтарем влагой.

— Что же, пусть земля будет пухом моему мальчику и его невесте, которой он сподобился на том свете!

Тетя Мавра бессильно провела руками по коленям, будто пытаюсь смягчить боль. В ее глазах метался немой крик: «Сыночек мой, ненаглядный! Горе ты мое!».

— А что мне еще остается думать! — тяжело произнес дядя Элефтер.

Оказывается, брат тети Мавры видел сон: явился Амиран и попросил две таблетки анальгина — одну, мол, для меня, а вторую — для моей Маринэ... Тогда появилась и сама Маринэ — невысокая, ладненькая, с пригожим лицом, с двумя косичками, как у школьницы... В том самом автобусе ехала она... Тело опознали только по поясу с пряжкой, который ей привез из-за границы отец. Единственной дочерью была Маринэ... При жизни они с Амираном никогда не видели друг друга... И увидели, возможно, за минуту до гибели. Заметив девушку, Амиран, возможно, нажал на педали, прибавил ходу, приосанился, очень уж хотелось ему взглянуть в глазах незнакомки молодцом. И девушка пригладила волосы,правила платье, чтобы приглянуться симпатичному парню...

— За моего сына и его невесту! — повторил дядя Элефтер.

Я и сам не почувствовал, как у меня потекли слезы.

Мужчины замолчали, удивленно посмотрели на меня, видно, только сейчас вспомнив о моем существовании.

— Будь я неладна, старая дура, напугали ребенка! — Тетя Мавра потянула меня к себе, обняла, погладила по спине: — Не бойся, милый! Не принимай наше горе близко к сердцу! Не печалься! — Потом взяла за руку и повела наверх. Там, в маленькой комнате рядом с гостиной, она постелила мне постель, прогладила простыню горячим утюгом, укутала одеялом и, пожелав спокойной ночи, вернулась вниз, к мужчинам.

Я закутался в одеяло с головой. Казалось, что за стенкой, поднявшись с тахты, костюм в одиночестве расхаживает по комнате. А может, и не в одиночестве, может, с ним в паре ходит его мертвый владелец — в джинсах, в красной сорочке. Держится рукой за разбитую голову. Небось, больно. Я вдруг и сам почувствовал глухую боль, как будто это меня молотило затылком по стальным рельсам. Уже проваливаясь в сон, я увидел, как из темноты на меня с грохотом вылетел черный поезд. Он несся на страшной скорости и протяжно гудел: «Ни-ка-нор!».

В холодном поту я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. В ушах все еще стоял гул и грохот. Сердце колотилось от страха. Кругом было темно, только из приоткрытой в соседнюю комнату двери падала узкая полоска света. Оттуда доносились приглушенные голоса.

Преодолев страх, я откинул одеяло, опустил ноги. Пол был холодный. Неслышно ступая, я добрался до двери, заглянул в щелку.

В поле моего зрения оказалось кресло. В нем виднелись очертания человеческой фигуры. Приглядевшись, я увидел, что это тетя Мавра. Она сидела, сжав руками голову, все ее тело сотрясалось от беззвучных рыданий. Рядом, на полу, привалившись спиной к тахте, сидел дядя Элефтер. Держа в руках фотографию Амираана, он издавал какие-то странные, нечеловеческие звуки — то ли выл, то ли скулил по-собачьи. От этих звуков волосы зашевелились у меня на голове. Я никогда не видел плачущего мужчину, не знал, каким бездонно глубоким бывает горе.

Стараясь не производить шума, я вернулся в постель. Меня трясло, и я долго не мог согреться...

Наутро, за завтраком, я вдруг заметил, что ломоть хлеба с маслом прыгает у меня в руке. Тетя Мавра глянула на меня подозрительно:

— Ты хорошо спал, дорогой?

— Да! — соврал я и чуть не подавился куском.

У дяди Элефтера глаза были красные, припухшие. Он не смотрел в мою сторону. Может, ему неприятно мое присутствие? Я потянул тетю Мавру за рукав и прошептал:

— Я хочу домой!

«Домой» означало в детский дом. Тетя Мавра по- няла и, как мне показалось, вздохнула с облегчением!

— Да, дорогой, мне тоже пора. Вместе и пойдём!..

* * *

Отец близнецов был вором, да еще и неудачливым. Вечно попадался. А потому не успевал отбыть один срок, как ему присуждали второй. Так и мыкался по тюрьмам да колониям. Что ж, каждый человек сам ищет себе поприще, позволяющее удовлетворить свои амбиции. Папаша близнецов гордился своей карьерой, увенчанной званием «вора в законе». По правилу другие воры, помельче рангом, должны были бы заискивать перед ним и всячески угождать. Но, видимо, он не пользовался должным авторитетом в воровской среде, и ему приходилось перебиваться чем Бог пошлет. Заводить семью папаша Хатиашвили, естественно, не собирался, достаточно хорошо понимая, что для такого, как он, семья — лишь обуза. Но так уж получилось, что соблазнил он деревенскую девушку — существо бессловесное и безропотное, тихоню из тихонь, да при этом прехорошенькую. Соблазнил, не пылая особой страстью, просто так, под руку подвернулась, ну а потом стал похаживать к ней время от времени. Любил ли он ее? Наверное, по-своему любил, если можно назвать этим словом звериное сочетание похоти, ревности и жестокости. Рождение близнецов подорвало здоровье молодой женщины, а отношение мужа добило ее окончательно... Ее не стало, когда мальчишки были уже достаточно большими, чтобы кое-что понимать. Они тяжело переживали смерть матери. Темо день и ночь плакал и все звал мать — «Мама, мамочка!», а Гия, наоборот, ушел в себя, замкнулся, целыми днями сидел, забившись в угол, и ни с кем не разговаривал.

Но удивительнее всего было то, что сам отец семейства чуть не наложил на себя руки. До этого, правда, не дошло, так как свое горе он предпочел заливать вином. Притаскивался домой вечером, еле держась на ногах, и тут начиналось!.. В смерти жены он винил сыновей, а те — его. Правда, вслух об этом не говорилось, но враждебность, гнездившаяся в глубине ду-

ши, вначале тихо тлела, потом разгорелась и вскоре превратилась в открытую ненависть, какая бывает только между близкими людьми. «Ах, вы ублюдки!..» — сверкал глазами папаша Хатиашвили и впивался зубами себе в руку. На большее его не хватало. Но и этого было достаточно. Мальчики бледнели, вжимались в стену, боялись подать голос. А у него глаза наливались кровью, лицо искажалось, и он смотрел на сыновей с такой яростью, как будто перед ним смертельные враги. Со звоном он разбивал об стол пустую бутылку и угрожал осколком то одному, то другому: «Доберусь я до тебя, перережу горло как паршивой овце!». Но исполнить свою угрозу у него уже не доставало сил. Он кулем валился на постель и оглушительно храпел.

Темо обессиленно опускался на стул и начинал тихонечко скулить. Гия не двигался с места, оцепенело и молча уставившись в одну точку и сжав кулаки так, что ногти впивались в ладони. Мертвенная бледность долго еще не сходила с его лица.

— Убью! — однажды воскликнул он и с силой стукнул кулаком по стене.

— Что? — переспросил, оробев, Темо.

— Убью, сказал! — упрямо повторил Гия, и в его голосе было столько ненависти, что Темо вдруг понял — убьет!

Еще хуже бывало, когда у отца не было на что выпить. Он метался по комнате, как зверь, пинал ногами стол, стулья, разъяряясь все больше и больше. Мальчики старались не попадаться ему под руку, но это было не так-то просто. Тогда Темо начинал лебезить. Гия каменно молчал. Отца раздражало и то и другое. Он придирался, искал выход своему раздражению. Наконец хватал Темо за шиворот и валил его на пол. Темо не сопротивлялся, но сразу начинал хныкать и уползал на четвереньках куда подальше. Гию отец трогать не решался, будто побаивался. Только долго и свирепо таращился на него, потом подносил кулак к носу. Гия глаз не отводил, смотрел на родителя дерзко, с вызовом, и тот не выдерживал, смущенно опускал взор. На лице его даже появлялось нечто вроде страха — будто в глазах сына он прочел приговор!

Но однажды близнецы, не сговариваясь, дали пьяному папаше отпор. Первым поднял на него руку

Гия. Как это получилось, он и сам не знал. Да и силы откуда взялись, чтобы справиться с таким бугаем!

— Мать твою!.. — грязно выругался отец. У Гии потемнело в глазах. Не видя ничего перед собой, он бросился на отца и начал молотить кулаками куда попало. Отец пошатнулся от неожиданности, растерянно попятился, прикрывая лицо руками. Тут Темо, уже приготовившийся шмыгнуть в дверь, вдруг повернулся, воровато подкрался сзади и тоже ткнул отца кулаком. Это и оказалось последней каплей. Рослый мужчина вдруг сверзился на пол и жалко захныкал.

Гия сразу протрезвел, сверкнул глазами на скривившегося в бессмысленной ухмылке брата и отрывисто приказал:

— Помоги!

Вдвоем они кое-как подняли отца, подтащили к крану, умыли его и взгромоздили на кровать. Потом вскипятили чай, поставили стакан на табуретку, придвинули к кровати. Отец продолжал всхлипывать, обиженно, по-детски.

В ту ночь братья долго не ложились, как будто в доме больной, которого нельзя оставить без присмотра. К Темо вернулся прежний страх, он часто моргал. Лицо кривилось в слезливой гримасе. Гия вновь окаменел, уставился в одну точку.

В конце концов отец затих, стал дышать ровнее.

Мальчики тоже улеглись. Спали вроде бы чутко, но все же не уловили, когда отец выскользнул из дома.

Он пропадал целую неделю. В доме не было денег. На последние двадцать копеек близнецы купили хлеба. Отец не появлялся.

— Неужели он нас испугался? — нерешительно спросил Темо.

— Испугался, как же, испугаешь такого! — сухо отрезал Гия. — Спасибо скажи, что не прирезал, когда мы спали!

На следующей неделе, во вторник, в дом пришли какие-то мужчины в сопровождении участкового. Расспрашивали братьев: когда видели отца в последний раз, нет ли от него вестей, как он вообще вел себя, не замечали ли каких-либо странностей в его поведении...

Темо охотно отвечал на все вопросы, Гия же как вода в рот набрал.

Один из мужчин сказал:

— Не след вам одним здесь оставаться. О вас позаботится государство. Собирайте вещи!..

Темо засуетился, начал хватать какие-то вещи, закидывать их, за неимением чемодана, в школьный ранец.

Гия же упрямо замотал головой:

— Никуда не пойду. Буду ждать отца здесь!

— И сколько же лет ты его будешь ждать, восемь? — усмехнулся мужчина.

— Хоть десять! — угрюмо отрезал Гия.

— Пойми ты, дурная твоя голова, поймал бы твоего отца и угодит он в тюрьму. Магазин обокрал. С ним ведь это не впервой!

Гия промолчал и тоже взялся укладывать ранец.

На третий или четвертый день пребывания в «Радости», как в насмешку, а впрочем, может, и из самых благих побуждений нарек кто-то наш детский дом, попросту же приют, братьев наделили прозвищами. Гию прозвали Бычком, Темо — Прыщом... Несходство кличек было неслучайным. Близнецы, как это ни странно, действительно ни капли не походили друг на друга. Темо — высокий, долговязый, с длинным, унылым носом, придающим ему отдаленное сходство с единорогом, лицо сплошь покрыто мелкими прыщиками, отсюда и прозвище. Гия, хоть и ниже брата, но крепче, кряжистее, с крупной крутолобой головой. Действительно похож на молодого бычка, того и гляди бодаться начнет... Так или иначе, Куцна Чедия, выдумавший прозвища, предпочел спрятаться за спины ребят и пустил их в ход, только почувствовав себя в безопасности:

— Эй, Прыщ!

Темо залился краской.

— Это я Прыщ?

— Да не ты, вон Ушастик! — закривлялся Куцна.

Ушастик было лет шесть. Уши у него и в самом деле смахивали на лопухи — большие, оттопыренные, что, впрочем, нисколько не смущало его. Невозмутимо уставившись на Куцну, он сосредоточенно сосал палец.

— Эй, Прыщ! — подхватил Гизо Шамугия по прозвищу Губошлеп, верзила с вывернутыми, как у негра, губами и крупными лошадиными зубами.

— Прыщ, Прыщ! — включившись в игру, Ушастик вынул палец изо рта и направил его на Темо.

— Издеваетесь? — Темо был вне себя от злости, но затевать драку не решался.

Гия стоял рядом, безразлично жевал жвачку и в события не вмешивался.

Потом спокойно посмотрел на красного как рак брата и примирительно заключил:

— И чего ты лезешь в бутылку? Прыщ и есть, ничего не поделаешь!

— И ты туда же? — Темо готов был заплакать, но Гия уже отвернулся от него и поманил пальцем верзилу Шамугия:

— Как тебя звать, приятель?

Шамугия был не слабее Гии, но самоуверенность новенького, видимо, сбила его с толку.

— Ты меня?

— Тебя, кого же еще! Звать, спрашиваю, как?

— Меня? Гизо! А эти дурни зовут Губошлепом!

На лице Гии промелькнула взрослая, снисходительная улыбка.

— Похоже! Ну, а меня как прозвали, можешь сказать?

Губошлеп, на всякий случай приготовившись улететь, повернулся к Куцне:

— Куцна, чего прячешься? Сам придумал — сам и говори!

— А я что, я ничего! При чем тут я? Вон, пусть Раззява скажет! — Куцна Чедия толкнул в спину Раззяву.

Раззява славился тем, что никого и ничего не боялся. Близнецы-братья тоже были ему нипочем — что по отдельности, что вместе. С лица его никогда не сходила ухмылка. Казалось, он и спит так, ухмыляясь. Вот и сейчас Раззява осклабился шире обычного, но не вымолвил ни слова.

Гия обвел глазами ребят. Под его взглядом Куцна Чедия совсем съежился, побледнел, глаза у него забегали. Гия ткнул пальцем прямо в него.

— Ну-ка, ты!



На лице у Куцны выступил пот, но деваться было некуда, и он нерешительно промямлил:

— Бычок!

Гия принужденно усмехнулся.

— Ну и ладно! Бычок так Бычок! Но смотрите, если кто назовет меня иначе, тот будет шпион!

Ушастик вновь вынул палец изо рта и указал на Гию:

— Бычок! Бычок!..

Старшие мальчики жили в правом крыле первого корпуса, в крайней комнате. Новичкам обычно доставались самые плохие места, поскольку освободившиеся кровати успевали захватить старожилы. Но Гие отнюдь не улыбалось спать в середине комнаты, где была свободная кровать, и он облюбовал себе место в углу. На кровати сидел Шукри Цецхладзе, болезненного вида парень с вытянутой, наподобие тыквы, головой. Врачи не находили у него никакой болезни, но дети упрямо считали его туберкулезным. Скорее всего он и впрямь был не совсем здоров, потому что постоянно покашливал. Впрочем, если верить злым языкам, вначале он кашлял, чтобы вызвать жалость, ну а потом уже это просто вошло в привычку. Его-таки жалели и во многом потакали, а он пользовался этим. Вот перед этим самым Шукри и встал Гия, теперь уже Бычок.

Шукри в недоумении поднял глаза, явно не понимая, чего от него хотят.

— Послушай, приятель! — неторопливо и веско произнес Бычок. — Если кто будет к тебе приставать, скажешь мне!

Шукри все еще не понимал. Он вытаращил на Гию глаза и захлюпал носом. Впрочем, из носу у него текло всегда, а вот вытирать сопли он чаще всего забывал. Так и ходил сопливый.

— Но и ты должен меня уважить! — невозмутимо продолжил Бычок. — Видишь ли, я не засну, если не повернусь лицом к стенке!

— К стенке? — переспросил Шукри. Расшифровать подтекст ему было явно не под силу.

— Ну да! — потерял терпение Бычок. — Ты должен поменяться со мной местами.

Шукри не привык к посягательствам на свои ма-
ленькие, завоеванные хитростью привилегии, но не знал,
как отстоять их, — драться он был не мастак — и бес-
помощно огляделся.

Кроме них, в комнате было еще пятеро ребят, но
никто из них не захотел ввязываться, и каждый делал
вид, что занят неотложным делом.

Не получив ожидаемой поддержки, Шукри внезап-
но ухватился обеими руками за края кровати, как буд-
то боялся, что его стащат с нее силой, и закричал тон-
ким плачущим голосом:

— Никуда я отсюда не пойду. Это мое место!

Бычок холодно усмехнулся. Лицо его застыло и по-
ходило на маску, только в глазах плескалась такая
ненависть, будто перед ним находился не слабак Шук-
ри, а смертельный враг.

— Не понял! — Бычок поднял руку, тяжело про-
вел по стриженной голове Шукри, будто лаская, и вдруг
ущипнул его за мочку уха.

— Больно! — подскочив на месте, взвизгнул Шук-
ри.

Мамука Гиоргадзе не выдержал:

— Что ты пристал к нему? — бросил он Бычку, и
гслос у него был таким хриплым, что, казалось, это
удивило его самого.

— Что-о? — Бычок всем телом повернулся к Ма-
муке.

Чипо перестал рыться в шкафу. Гугули наконец
оторвался от своих картинок и поднял глаза. Важика
смешал шахматные фигурки и встал с кровати. Тата-
рин Мурад еще сильнее вжался в стенку.

— Что ты сказал? — с угрозой переспросил Бы-
чок.

— Чего, говорю, пристал к человеку? — уже ме-
нее уверенно повторил Мамука.

Бычок одним прыжком пересек комнату и навис
над Мамукой, схватил его за плечи, рванул, поставил
на ноги и, приблизив к нему лицо, свистящим шепотом
спросил:

— А тебе что за дело?

— Он ведь больной! — дрожащим голосом попы-
тался урезонить его Мамука.



Бычок вдруг отпустил его с таким видом, словно ничего не произошло, и вновь повернулся к Шукри.

Тот, тихонечко хныкая, сворачивал постель. Теперь, когда он прекратил сопротивление, заступничество Мамуки было ему ни к чему...

Мамука долго не мог унять дрожь. Сердце колотилось, в животе противно ныло, он испытывал гадливость к самому себе, не мог забыть холодно-презрительный взгляд Бычка. Уж лучше бы тот его поколотил, но сам затеять драку Мамука не решился.

В комнату заглянули Раззява и Куцна Чедия.

— Как вы тут, отцы? — осклабился, как обычно, Раззява. Куцна, почуяв запах пороха, зашнырял глазами по комнате.

Мамука вдруг вскочил, как будто его толкнули, и выбежал за дверь. Никого не хотелось видеть. К горлу подступали слезы, и он боялся, что расплачется как девчонка, у всех на глазах. Ему хотелось спрятаться куда-нибудь, побыть одному, но везде под ногами сновали малыши. Наконец он укрылся за деревом, росшим в самом конце двора, у забора, и тяжело опустился на землю...

Не прошло и десяти минут, как раздались чьи-то шаги. Мамука быстро вытер глаза и поднял голову. Перед ним стоял Бычок.

Мамука отвернулся.

Бычок положил ему руку на плечо:

— Ты чего это смылся?

Мамука не ответил.

— Что молчишь? Небось, побежишь жаловаться Верулава? — Тон у Бычка был беззлобный.

— Этого еще не хватало!

Бычок примирительно улыбнулся, дружески щелкнул Мамуку по голове.

— Закурим?

— Я не курю!

— Тем лучше! Тогда пошли ужинать, а то баланда остынет!

Бычок обнял Мамуку за плечи и повлек за собой. Мамуке было стыдно, но оттолкнуть Бычка он не смог...



Тетя Мавра ступает тяжело. Она крепко держит меня за руку и, не отрываясь, смотрит под ноги, как будто неровная сельская дорога таит в себе некую опасность. Я нетерпеливо дергаю ее за руку и прибавляю шаг, хотя торопиться, по правде говоря, у меня нет никаких оснований. Наоборот! Но пусть уж лучше поскорее пройдут неприятные первые минуты встречи. Меня передергивает в предвкушении всех этих неизбежных расспросов, жалостливых взглядов, притворного сочувствия...

Погода, как назло, тоже унылая. Дождя нет, но темное беспросветно-свинцовое небо опустилось так низко, что, кажется, можно достать рукой, и непонятно, чего от него ждать — то ли дождя, то ли снега.

Идти недалеко, и вот уже видны ворота Дианоза Верулава.

Параллельно забору вьется узенький ручеек. Над ним свесилась плакучая ива. Когда «родители» привезли меня обратно, дерево было покрыто молодыми зелеными листьями.

Охватившие было меня неприятные мысли рассеиваются при виде Дианоза Верулава.

Он закрывает ворота.

Неторопливо поворачивается в нашу сторону. Видно, поджидает специально.

Сердце у меня начинает биться, как будто я в чем-то виноват и заслуживаю наказания.

— А вот и наш Никанор вернулся! — Дианоз встречает меня так, как будто давно ждал этого события. Он притягивает меня, прижимает к себе, при этом мой нос больно утыкается в какую-то пуговицу, но я, естественно, не подаю вида.

Потом Дианоз кладет свою большую тяжелую руку мне на плечо, и мы вместе направляемся к «Радости».

Суббота. Все, наверное, в школе. Вот и хорошо, пока вернутся, я успею немного пообвыкнуться.

Во дворе, действительно, никого. Только из третьего корпуса доносится нестройное пение. Это дошколята разучивают новую песню.

На ступеньках первого корпуса стоит Мравала



Папаскири, заведующая учебной частью. В руках у нее какой-то журнал, лоб нахмурен.

— Батоно Дианоз! — взывает она к директору. В голосе привычное недовольство. Сейчас начнет на кого-нибудь жаловаться. Но тут Мравала замечает меня: — А-а, наш Никанор пожаловал! — Она треплет меня по щеке и тут же снова переключается на Верулава.

— Батоно Дианоз, вы видели такое безобразие...

— Потом, потом! — отмахивается Дианоз, и мы быстро поднимаемся по лестнице. Тетя Мавра не поспевает за нами, пыхтит и шумно отдувается, преодолевая крутые ступени.


Я заранее знаю, что Дианоз поведет меня в учительскую, и там продемонстрирует всем присутствующим — вот, мол, наш Никанор вернулся! Все окружают меня, посыплется радостные восклицания — наполовину искренние, наполовину притворные. Я буду стоять с упрямо опущенной головой, и из меня не выжмут ни единого слова. А что мне еще остается? Как попугаю, повторять — «хорошо!», «спасибо!», «хорошо!»?

Дианоз действительно подводит меня к учительской, широко распахивает дверь и почти вталкивает меня в комнату:

— Вот и наш Никанор вернулся!

Ох ты, Господи, полный сбор! Меня, что ли, встречать собрались! Или, может, собрание какое? Ума не приложу, как себя держать. Стою, как дурак, посередине комнаты, а они ходят вокруг, рассматривают, будто я диковинка какая, не жалеют для меня ласковых слов.

— Как вытянулся! — объявляет длинноногая, вечно угрюмая Вардико Чкванави и целует меня в щеку. А я вспоминаю, как на этой щеке отпечаталась когда-то ее пятерня... Мы делали в классной комнате домашнее задание. Задумавшись, я рисовал в тетради какие-то завитушки, а потом — неожиданно для самого себя — набросал чей-то профиль с длинным, вислым носом, такой устрашающей размеров морковиной. Тут ко мне и подошла Вардико. Увидев мое художество, она побагровела и вlepила мне такую звонкую затрещину, что я думал — полопаются стекла... — Какой парень стал! — ележно вздыхает невысокая, кругленькая, воображающая себя красавицей, Сулико Хубутия. Глаза



подведены синим карандашом, волосы тоже отливают синькой — Мальвина да и только! Впрочем, волосы у нее, кажется, были синими и тогда, когда меня забирали отсюда... Не помню... Сулико прикладывается к моей щеке своей пухлой холодной щечкой. Вместо поцелуя.

Наша «гроза» Ксения Салакая предостерегающе поднимает палец:

— Небось, распустили тебя там, смотри у меня!

Ксения вся седая, но глядит так гордо и надменно, что кажется совсем молодой.

— Выглядишь молодцом! — поскрипев стулом, одобрительно бросает мне Чито Хухуа, могучая, рябая баба. Такой бы впору трактор водить, а ей подняться со стула лень.

Амбако Цомая, наш агроном, подходит ко мне, по-солдатски чеканя шаг, энергично пожимает руку:

— Вернулся, значит!

— Где Иосава? — спрашивает Дианоз. — Назиброла, выдашь ему все что положено. А потом пусть им займется Этери!

Назиброла Циргвава — кастелянша, на ногах у нее неизменные калоши, и она шлепает ими так, словно вокруг грязь по колени, при этом все ее тело содрогается, будто она мчится на всех парусах, на самом же деле передвигается Назиброла со скоростью черепахи.

Мы идем с ней в бельевую. Она вручает мне постельное белье, тощее одеяло, подушку, всю покрытую облезлыми перьями, шершавое полотенце и подталкивает в сторону спальни. Хорошо еще хоть недалеко! Я сваливаю свой груз на пустую кровать, и мы отправляемся в кладовую. Там нас встречает кладовщица, Этери Иосава. Она приветливо улыбается мне, блеснув ровными белыми зубами.

— Дианоз приказал выдать ему, что положено, а потом сдать на руки Пело! — Назиброла удаляется, и ее калоши хлюпают за спиной так долго, словно идти ей по коридору не два шага, а целых два километра.

Этери Иосава поднимает мне подбородок, пытливо смотрит в глаза:

— Вернулся, значит?

— Да! — коротко отвечаю я, мне трудно говорить с задранной головой.

— Так... Чем же мне тебя порадовать? Сам знаешь, джинсы из Техаса у нас не водятся.

Что ж, на джинсы я и не рассчитывал. Примеряю грубые, неуклюжие ботинки, серые бесформенные брюки и такую же унылую куртку, тяжелое, подбитое ватой пальто. Не Бог весть что, конечно, но зимой не замерзну.

Не успеваю я разобраться во всем этом добре, как передо мной, будто из-под земли, возникает бабушка Пело. Ростом она не выше меня — у меня хоть надежда есть, что подрасту. Раньше она мне казалась повыше... Впрочем, наверное, и раньше была такой же крохотной и сгорбленной.

— Пошли, голубок, пошли, мой золотой! — нараспев произносит бабушка Пело. — Вот и вернулся! И хорошо сделал! Все тебя тут любят, всем ты родной!..

Она берет меня за руку и ведет в баню, ласково приговаривая что-то на ходу. Я покорно становлюсь под горячий душ.

Оказывается, я изрядно проголодался. Правда, время обеда еще не пришло — занятия в школе не кончились, но мой желудок уже отвык от принятия пищи в строго определенное время. И наскоро обтершись, я с тайной надеждой заглядываю в столовую.

— Тетя Варя!

Варвара ворочает в котле половником. Ее багровые щеки покрыты то ли каплями пота, то ли брызгами жира. При виде меня она бросает половник и всплескивает руками:

— Батюшки! Кто ж это к нам пожаловал!

Мне становится теплее на душе.

— Голодный, дорогой? Сейчас, сейчас!

Коверкая грузинские слова на русский лад, Варвара принимается за дело. Достает с полки большую миску, наливает в нее столько борща, что, несмотря на гслад, мне становится страшно.

— Ешь, милоч, ешь! — Она взъерошивает мне волосы, шутливо дергает за ухо, потом дает дружеского тумака, от которого я чуть не сваливаюсь со стула. Все эти проявления радости входят в плату за обед не по расписанию, и я терплю.

Когда, к своему удивлению, я обнаруживаю дно миски, в столовую влетает Цисия Девдариани. Ну и

красивая же она стала! Я плююсь на нее, как будто вижу впервые. Забываю даже подняться со стула, так и сижу, поднеся ложку к раскрытому рту.

Цисия хохочет.

— Никанор, что это с тобой? Не проглоти ложку! — Она чмокает меня в щеку и садится напротив. — Ешь, я не буду тебе мешать!

Ничего себе — не буду мешать! Уселась перед самым носом, да еще и улыбается. Как тут есть? Я откладываю ложку.

— Не вздумай опять поручать мне стенгазету! — наконец мямлю я, чтобы что-нибудь сказать.

— Не собираюсь. Хотя, знаешь, после твоего ухода дела у нас пошли вкривь и вкось, — жалуется Цисия.

— Смотри, объявлю голодовку! — предупреждаю я.

— Ладно тебе, мы ведь друзья!

Хитра Цисия, вертит мной как хочет.

Смотрю на нее и думаю: и откуда только рождаются такие... Цисия похожа на небо — такая же бескрайняя и глубокая, прозрачная и воздушная... Взглянешь на нее в жару — и так и обдает тебя прохладой... Заслуга матери — в том, что дала жизнь и имя выбрала подходящее — Цисия, Небесная, а вот все остальное, наверно, от Бога...

Мы с Цисией еще продолжали беседовать, когда снаружи раздались голоса и шарканье ног. Это вернулись из школы ребята.

В дверь просунулась голова Куцны Чедия. Он похож на ящерицу — худой, верткий, неугомонный. Учится уже в восьмом классе, но ростом не выше меня... Мы обменялись улыбками. Здраваться и пожимать руки, а тем более целоваться у нас не принято. Куцна подмигнул мне, я ответил тем же. Куцна мой крестный — это по его милости я из Нико превратился в Никанора. Мне хотелось в отместку тоже что-нибудь придумать, да передумал — «Куцна Чедия», куда уж лучше! И так звучит как прозвище.

На Куцну сзади напирали ребята. Он сдерживал их. Наконец, они протолкнули его в столовую, как пробку, и ввалились сами — целая ватага! Комната сразу наполнилась шумом, гамом, смехом.

Кто-то улыбнулся мне, кто-то по-дружески дал гупамака, кто-то взъерошил волосы.

— А, Никанор явился! Теперь пойдут сказки да небылицы!

Среди ребят двое новеньких. Один из них положил мне на плечо тяжелую руку, холодно оглядел с ног до головы:

— Это мое место!

Я поднялся. Место и вправду было не мое. Хотя тон его мне не понравился, слишком непререкаемый. Мог бы сказать по-человечески, что я, не понял бы, что ли!

Цисия тоже встала, заявив, что дел у нее — невпроворот. Я отвел Куцну Чедия в сторонку и тихонечко спросил, что это за новичок такой выискался.

— Это Бычок! С ним лучше не связываться!

— Тоже мне, Бычок! Скорее уж лошак, — прошептал я на ухо Куцне.

— А тот, что напротив уселся, его брат, близнец, зовут Прыщ! — ядовито прошипел Куцна.

Я всегда думал, что близнецов не отличишь друг от друга, а эти были ничуть не похожи. Если один, действительно, смахивал на бычка, то второй напоминал клячу — одна кожа да кости.

Бычок обернулся на наш шепот, с подозрением оглядел. Куцна Чедия мгновенно смолк, принял безразлично-рассеянный вид — я, мол, тут ни при чем. Я тоже не стал искушать судьбу, пошел к выходу и в дверях прямо налетел на Мимозу Кация.

Надо же! Коли не везет, так не везет! Кажется, я даже сделал ей больно, потому что она слабо вскрикнула. Мимоза узнала меня и, засмутившись, почему-то извиняющимся тоном пролепетала:

— Здравствуй!

Я тоже смутился. Как дурак застрял в дверях — ни туда, ни сюда. Дернулся всем телом, как будто собирался присесть в реверансе, — хорошо никто не обратил внимание, а то засмеяли бы. Усилием воли я заставил себя освободить проход и выскочил наружу. Меня захлестнула какая-то невиданная энергия. Шлепая по лужам и разбрызгивая жижу, я несколько раз обежал двор. Придя в себя, заметил, что не один, — за мной бежал пацан по кличке Утенок. Когда я оста-

новился, он замер тоже, вылупился на меня своими маленькими, как у мышонка, глазками и шмыгнул носом.

— Чего ты увязался за мной?

— Так, — прошептал он.

— Небось, в третий перешел?

— Угу!

— Думаешь, догонишь?

— Угу!

— А ну давай, попробуй!

Я побежал, и он бросился за мной. Я трижды обежал магнолию. Утенок пыхтел, как паровоз, и всю работу ногами, но догнать меня, конечно, не мог. Мне стало жалко его, и я незаметно убавил шаг. Он налетел на меня и, страшно довольный, засмеялся.

— Ну, ладно, ладно! Иди, а то останешься без обеда!

— Знаешь, сегодня будет кино, — доверительно сообщил мне Утенок. — Про индейцев! Бах-бах-бах! — Он прищурил глаз и вытянул руку, делая вид, что целится в меня.

Ну и прекрасно! Давно я не был в кино.

Ожидая, когда кончится обед, я присел на скамейку. Мне хотелось повидаться с одноклассниками.

Сначала вышли девочки. Мимоза украдкой взглянула на меня и покраснела. Она всегда так краснела, и мне при этом мучительно хотелось помочь ей, но как? Циру и Пепела сразу устремились ко мне.

— А говорили, ты болеешь! — Циру Бедия удивленно оглядела меня. По-видимому, больных она представляла себе иначе.

— А ты не шалишь? — подковырнул я.

До нас Циру жила у старенькой, чуть ли не девяностолетней бабушки. Старушка, видимо, рассудила, что однажды утром внучка может найти ее в постели мертвой и каково ей будет тогда? Вот она и решила сдать Циру в «Радость». Когда ей бывало получше, она навещала девочку, когда же прихварывала, с любой оказией наказывала, чтобы была умницей, не шалила, старших слушалась. Поэтому я и спросил — не шалишь, мол? Циру не обиделась, казалось, вообще пропустила мимо ушей мою подковырку.

— А болезнь хоть была незаразной?

— Конечно, заразной, да еще какой! Кого ^{хоть} пальцем коснулся, все мерли!

— Что ты! — разинула рот Пепела.

— Святая правда! Столькие, что гробов ^{не} хватило. Пришлось уложить в посылочные ящики и отправить родственникам!

— Какой кошмар!

Пока я трепался с девочками, на двор высыпали ребята. Вопреки обычаю, мы обменялись крепкими мужскими рукопожатиями. Хвича Туркия откашлялся и объявил:

— Сегодня кино. Про индейцев! Говорят, такие драки, свихнуться можно!..

— Лучше бы «Леди Каратэ» показали. Вот это фильм! Видали по телевизору? — Арвелод Ардия встал в позу опытного каратиста.


— А я индийские фильмы люблю, — на индийский манер пропел рыжий Отойя. Он взмахнул головой, и волосы у него вспыхнули золотым огнем.

— Когда я жил дома, у меня был знакомый каратист... Ох и силач! — Заза Девидзе сделал выпад, демонстрируя, как знакомый каратист захватывал голову противника.

Говорили, отец Зазы был каким-то большим человеком. Жили припеваючи. Но отцу Зазы вдруг взбрело в голову, что ребенок должен расти в нужде, и он недолго думая сдал сына в детский дом. Ничего, страна у нас богатая, якобы сказал он при этом, не даст ребенку помереть с голоду.

— Надо пойти пораньше, чтобы занять места! — забеспокоился Ивери Ткебучава с лицом миловидной девочки. Зная это, он постоянно гримасничал, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, и вправду не принял его за девчонку.

Мы гурьбой направились в кино. Другие оказались не глупее нас и тоже торопились к клубу, чтобы занять места получше. Мимо нас торопливо просеменили гуськом братья и сестры Цкипуришвили. Когда их мать сбил на шоссе огромный рефрижератор, младшему, Датуче, едва исполнилось два года, и он еще сосал грудь. Всего же детей было девять. Отец работал в колхозе от зари до зари — непросто было прокормить девять ртов. После смерти жены у него опустились ру-



ки — целыми днями сидя на пороге своего покосившегося домишки, он отрешенно смотрел куда-то вдаль. Старшие — брат и сестра — присматривали за ним, остальные же были сданы в «Радость», и заботу о них взял на себя Бичико, которому едва исполнилось пятнадцать, хотя на вид он гораздо старше.

Горе и забота будто состарили его — на лице морщины, в больших глазах — взрослая неизбывная печаль. Но Бичико не жалуется, напротив, держит себя так, что, уже готовые вырваться слова сочувствия, замирают не выговоренные. Вот и сейчас он идет впереди, упрямо опустив голову, словно прокладывая дорогу... Стараясь не отставать, за братом поспешает Пунтуша, беленькая миловидная толстушка. Ей четырнадцать, она уже в восьмом классе... Не отстает от Пунтуши мой одноклассник Кучуна. На ходу он успевает пихнуть меня локтем и дружески подмигнуть. За ним степенно вышагивает пятиклассница Нанули, Жужуна — она в третьем — и первоклашка Дудуна. Последняя держит за руку младшего. Датуча не переступает ногами, а мячиком катится за старшими.

Мимо меня стремительно, как камень, выпущенный из рогатки, проносится Папучи Эдзгверадзе. Я хватаю его за руку, но куда там! Рукав его куртки трещит и чуть не остается у меня в руке. Что это с ним? Не иначе перед девочками выдрючивается. Так и есть! Поблизости прогуливаются Цуцу, Иамзе и Маквала из ба...

Мы подошли к клубу. Хорошая половина мест уже занята. Под шумок в зал пробрались деревенские ребята. Где уж билетерше разобраться, кто из «Радости», а кто нет. Мы выбрали себе места и расселись в ряд — все из ба. Вокруг будто только нас и ждали — быстро заполнились места. Получилось так, что я оказался рядом с Мимозой Кацня. И что из того? Я все равно не смотрю в ее сторону — еще краснеть начнет, ну ее!.. Перед нами уютно расположились Цуцу, Иамзе и Маквала. Каха Шония, как всегда, рядом с сестрой. Вот уж парочка!.. Вечно ссорятся, терпеть не могут друг друга, а сидят всегда вместе... Я оглядываюсь назад. Там сидят братья Гурцкая, из седьмого класса — тихие, сдержанные ребята. Они приветливо кивают мне...

Меня охватывает какое-то неприятное предчувст-

вие... Так и есть. В зал входит новенький, Бычок, которого я окрестил Лошаком. Рядом с ним близнец, Прыщ, со свисающей, как у клячи, нижней губой. Бычок оглядывает зал, ищет места получше. Вот заметил меня, свободное место рядом и направился к нам. Чтобы пропустить его, весь ряд встает. Он проходит, стараясь никого не коснуться, с таким видом, будто все обязаны вставать перед ним. Ладно, чего я цепляюсь к нему? Человек хочет занять свободное место, что тут такого? Но ведь за ним вслед протискивается Прыщ. Вдвоем на одно место собираются усесться, что ли? Что за неволя? Ведь в зале есть свободные места...

Не успеваю я подумать об этом, как Бычок уже стоит рядом и коротко бросает мне всего лишь одно слово:

— Встань!

Когда-то, давным-давно Большой Никанор учил меня: человек может не задумываясь отдать за другого жизнь, но бывает и так, что нельзя поступиться даже медной полушкой, чтобы не уронить своего достоинства... Я могу, конечно, уступить место, могу и вообще не посмотреть кино об индейцах, но на меня что-то такое накатывает, и я начинаю понимать — не уступлю даже под страхом смерти! Поэтому я делаю вид, что вообще не расслышал приказания Бычка. и небрежно спрашиваю у Мимозы:

— Мимоза, ты случайно не знаешь, что нужно от меня этому типу?

И тут происходит нечто ужасное. Бычок хватается меня за ухо и изо всей силы тянет его кверху. Больно! Впрочем, боль я бы еще мог стерпеть — не оторвет же он мне ухо, в конце концов! А вот от злости и унижения у меня на глаза наворачиваются слезы, и как только он отпускает мое ухо, я оскаливаюсь по-собачьи и впираюсь зубами ему в руку так, что меня еле оттаскивают. Но он крепкий парень — ничего не скажешь! Даже звука не издает! Только поглядывает на руку, где остались багрово-синие следы зубов. Я жду — вот сейчас он стукнет меня так, что из глаз искры посыплются. Может, так оно и было бы, но с переднего ряда вскакивает Иамзе, глаза у нее сверкают от ярости.

— Не стыдно тебе, такой бугай!

— Бугай? — Бычок огляделся. К нам при-
ковано внимание всего зала.

Он молча выбирается в проход, подталкивая замешкавшегося братца, и направляется к заднему ряду.

Тут гаснет свет. Но я и во тьме чувствую спиной его испепеляющий взгляд, хотя постепенно происходящее на экране захватывает меня — там ржут и мчатся кони, злодеи рыщут в поисках золота и мимоходом похищают красавицу, дочь хозяина салуна, а благородные индейцы спасают ее. И вот я уже тоже на коне! Я ничего и никого не боюсь... Несусь, как вихрь, на своем скакуне и не догнать меня никакому Бычку с его жалкой клячей...

* * *

Поздняя ночь. Я лежу в постели, изо всех сил жмурю глаза, пытаюсь заснуть. Но сон не идет.

Отчаявшись, я открываю глаза, взбиваю подушку, ложусь на спину и начинаю разглядывать комнату.

Спальня у нас большая. Десять кроватей выстроились в ряд с одной стороны, десять — с другой. Какому-то умнику, видно, показалось, что этого мало, и он втиснул еще четыре кровати в и без того узкий проход. Одна из этих четырех и есть моя. Изголовье кровати упирается в стену. Достаточно поднять голову, и вся комната — как на ладони. За окном темно, в тусклом свете фонаря во дворе мелькают редкие снежинки. Откуда они взялись? Может, начинается снегопад?

Над дверью мерцает красная лампочка.

Я поворачиваюсь. Кровать подо мной скрипит.

Неугомонный Папучи Эдзгверадзе сразу же поднимает голову с подушки.

— Не спишь?

Сам-то он готов спать где угодно и когда угодно, но сон у него чуткий. Какой шорох — и он моментально просыпается, как будто опасаясь, что может проспать что-нибудь интересное. Его кровать тоже стоит в проходе, у изножья моей...

— Расскажи что-нибудь, — просит Папучи, — все равно ведь не спишь.

Он поудобнее устраивается на подушке, закутыва-

ется в одеяло — один нос торчит — и выжидательно таращит на меня глаза.

— Что рассказывать-то? На улице идет снег, у нас здесь тепло, чего тебе еще? — в тон отвечаю я.

— Расскажи сказку!

— Сказку? — При этом слове справа и слева раздаются скрип пружин, на меня глядят четыре пары блестящих — сна как не бывало — глаз. Справа — кровати первоклашек, Мишико Габедава и Джибо Мосашвили. Мишико аж рот раскрыл от предвкушения, изо рта тянется тонкая струйка слюны... У Джибо маленькие, глубоко посаженные глазки обычно едва проглядывают из-под густых черных сросшихся бровей, но сейчас они блестят таким антрацитовым блеском, что я невольно начинаю соображать, что бы такое им рассказать... Слева от меня кровати Валерика Гаглоева и Ромы Барнабишвили. Эти чуть постарше, во втором классе. Ромка не такой заброшенный, как многие из нас. Каждое воскресенье его навещает мать — говорят, директор гастронома, во всяком случае, приезжает она на собственных «Жигулях». Воскресное утро начинается у Ромки с веселого щебета, вечером же, когда мать отбывает на своей машине, голос у него падает до отчаянного, вот-вот готового прорваться слезами, шепота. Зато потом целую неделю от щек Ромки исходит слабый, но отчетливый запах кондитерской.

— Расскажи сказку! — требует и Ромка, тоже удобнее устраиваясь на постели.

Смотри ты! Сколько времени меня не было, а помнят, чертенята, мои рассказы.

— Эх вы, зайчишки! — Я назидательно поднимаю палец. — Все сказки — вранье, уж я-то знаю. Сказки выдумывают взрослые, чтобы морочить таким, как вы, головы!

— Ну и что? Все равно сказки — это здорово! — Папучи в нетерпении ерзает на постели и умоляюще смотрит на меня.

— Ладно уж!.. Так что же вам рассказать?

— Про Хи-хи! — подсказывает мне Джибо.

— Про Хи-хи, так про Хи-хи, слушайте... Жил был Хи-хи. Не было у него ни головы, ни ног, ни туловища, ни рук — вообще ничего не было! Хи-хи не ходил, не летал, не скакал, не плясал, но стоило ему про-

изнести «хи», а тем более «хи-хи», как с ним начинали смеяться все — даже самый надутый, хмурый и неприветливый мальчишка. А сам Хи-хи при этом просто умирает от хохота — хрюкал, гукал, стонал, заливался, всхлипывал...

Я выпаливаю все это одним духом, а сам оглядываю аудиторию. Реакция превосходит все мои ожидания — слушатели корчатся от смеха, словно им щекочут пятки, катаются по кроватям, изо всех сил стараясь при этом не перебудить всю комнату. Наконец смех понемногу стихает. Какое-то время все лежит молча.

— Никанор! — раздается вдруг голос Хвичи Туркия. Закутавшись в одеяло, он усаживается на подоконнике. — Никанор, смотри, какие хлопья, совсем как в Сибири. Расскажи, а, как твой отец, Большой Никанор, путешествовал на оленях и наткнулся на белого медведя!

— Нет, лучше расскажи, как в Африке его съели пигмеи! — подскакивает на постели Арвелод Ардия.

— И вовсе не в Африке! Во все даже на луне это было. И пигмеи были марсианские! — просовывается вперед рыжая голова Отойи.

— Дурак ты, Отойя! На луне жизни нет, что там делать пигмеям? — Это басит Гонели Чичуа. Посмотришь на него — худющий, в чем только душа держится, кажется, подуешь — и нет его, а голосище — что твоя иерихонская труба!

— Сам дурак! — не уступает Отойя. — Ну и что, что жизни нет? А может, эти пигмеи из камня!

— Если бы пигмеи его съели, Никанору и рассказывать было бы не о чем! — рассудительно заявляет Заза Девидзе.

За это время просыпаются и овечки, как прозвали тех, кто учится в четвертом, за их готовность беспрекословно выполнять все указания старших. Вернее, просыпаются только Зяблик и Гусенок, остальных же — не разбудишь, хоть из пушки стреляй! Так набегаются за день, что к вечеру с ног валяются. Лишь бы добраться до постели, и все, их нет — дрыхнут целую ночь, как сурки. Зяблик и Гусенок однофамильцы, фамилия их — Чкванава, они из одной деревни и жили по соседству. У обоих родители погибли в автомобиль-

ной катастрофе, и теперь Зяблик и Гусенок считают себя братьями. Зябликом прозвал парня Куцна Чедия — он мастак находить меткие прозвища. Зяблик и впрямь похож на нахохлившуюся от холода птицу. В отличие от него, Гусенок смахивает на пузатую плетеную корзину, он и весит больше тех, кто старше на два-три года, и ростом выше, да и аппетит у него такой, что страшно смотреть, — кажется, быка проглотит живьем.

На соседней кровати поднимается голова Утенка. Уши — локаторами, глаза — как блюдца.

Что ж, раз публика просит! Немного поломавшись для вида, я поднимаю руку, наморщиваю, как бы собираясь с мыслями, лоб, вперяю взгляд в пространство, будто черпая оттуда одному мне явленную информацию, и загробным — для значительности — голосом начинаю.

— Да, недавно я виделся с отцом, Большим Никанором. Он опять отпустил себе вот такие усы! — Для наглядности я показываю руками, какие усы теперь у Большого Никанора. — Все от горя. Но усы ему придется скоро сбрить. Это он мне сам сказал. Я, конечно, расстроился. Помните, я вам рассказывал, как усы помогали ему, когда он путешествовал по Северному полюсу. О пользе усов ему поведал сам барон Мюнхгаузен. Отец высовывал свои усы из спального мешка, и за ночь на них намерзало столько сосулек, что хватало на чай всей экспедиции. Сначала их надо было растопить, конечно. Если бы не усы, экспедиция погибла бы без воды... Вот я и говорю ему: «С чего это тебе понадобилось сбривать усы? Таковую-то красу, и пользы от них сколько! Я бы ни за что не сбрил — за все золото мира!» А оказывается, назначили отца командиром космического корабля. Я-то не знал этого! А ведь на космонавтах скафандры и на голове шлемы. Запихал Большой Никанор под шлем свои усы — чтобы не свисали, а усы его чуть и не задушили... Еле спасли!..

Мои слушатели начинают обсуждать вопрос, следует ли Большому Никанору сбривать усы или при современном развитии науки и техники можно придумать, как сохранить их...

— Погодите, придет бабушка Агати, она вам уши пооборвет! — бурчит Головастик, которому мы не да-

ем спать. Ну, с ним все ясно, ему лишь бы поспать — какие уж тут сказки!

— А вот когда на луне появилось племя пигмеев — спокойно, будто не слыша ворчания Головастика, продолжаю я свое повествование.

— На луне нет жизни! — прерывает меня Хвича Туркия.

— Когда на луне появилось племя каменных пигмеев... — поправляюсь я.

— То-то же! — грозит мне пальцем рыжий Отойя.

— Так вот, вождь пигмеев, который, может быть, всего на какой-то дюйм выше Важики-Кнопки, или Зяблика, вот этот вождь прислал Большому Никанору телеграмму и приказал переправить к нему на луну из детского дома, который почему-то зовется «Радостью», всех детей с каменной головой и каменным сердцем, понимаете, тех, кто одной с ним породы...

— Так пошлем к нему Головастика! — подает голос из дальнего угла Носатик. Нос у него сам по себе не такой уж и большой, но на носу, как раз посередине, шрам. Этот шрам как бы делит нос на две половинки. Вот при первой встрече Куцна Чедия не удержался и пересчитал: «Раз нос, два нос, ну и дела, целых два сразу, значит, будешь ты у нас Носатик!» Мальчишка опешил и растерянно переспросил: «Носатик?» Но все вокруг уже подхватили: «Носатик! Носатик!» Владелец столь необычного носа сперва покуксился немножко, а потом ничего, привык, даже отзывался, когда его так называли.

— У тебя самого каменная голова! — не спускает обиды Головастик. — Ты лучше за своим носом смотри!

— Вчера я ночевал у Лагвилава! — продолжаю я, не обращая внимания на брюзжание Головастика. — Лежу себе и вдруг — треск, гул, ну, думаю, землетрясение, сейчас крыша обрушится мне на голову. Выскочил из комнаты... А это, оказывается, Большой Никанор посадил свой корабль у самого подножия Верасулы. Не верите?! Пойдите посмотрите сами. Там все обуглено!..

— А может, утром сходим? — нерешительно спрашивает Гусенок, которому явно не хочется вылезать из теплой постели.



— До утра там и следа не останется!

— На дворе холодно! — пищит Утенок.

— Холодно! — соглашаюсь я. — Ну и что! Вечера

тсже было холодно. Вот и я пошел погреться к огню — горел лес у подножия Верасулы, а заодно и узнать, что происходит. Смотрю — стоит Большой Никанор, а рядом — Главный пигмей, едва достает Большому Никанору до колен. Суется чего-то, сделает шаг — такой треск пойдет, что только держись. И маленькие пигмейчики тут же снуют, сталкиваются друг с другом — крак, крак!.. Вдруг за спиной у меня раздается топот. Оглядываюсь — и глазам своим не верю: бегут чуть ли не наперегонки наши воспитатели!.. Всех не узнал — темно было. Мишико Дзагания, шофер наш, — на своем разболтанном «рафике» гудит, несется на всех парах — видно, думал, что с луны сошли красавицы какие... За ним поспешает Писти Кардава, катит перед собой большущий котел, видно решила, что пигмей эти — что-то вроде вырезки или на худой конец — антрекота. За Писти с трудом поспекает Медико Самушия, задыхается, а кричит на бегу: «Писти! Чтоб тебе пусто было!.. Оставь и мне кусочек!..» Откуда ни возьмись появляется Ипполит Квирквелия, орет: «Эй, вы там впереди! Ничего не трогать, все мое!». Да кто его слушает? Как накинулись! Пихают в карманы — кто масло, кто сахар — лишь бы успеть! А масло-то каменное, да и сахар тоже!..

— А кто нами будет заниматься, если все туда побежали? — простодушно спрашивает Папучи.

— Не волнуйся, воспитателем с завтрашнего дня назначен Головастик. Вот он тобой и займется!

— Чего ты ко мне привязался? — огрызается Головастик.

— Тс-с! Тише! — предостерегающе шепчет Кучуна Цкипуришвили.

Мы мгновенно затихаем. Делаем вид, что спим. Шлепая войлочными чухами, в спальню входит ночная няня, Агати Эджибия. Она долго смотрит на меня, потом протяжно вздыхает...

Меня как будто кто-то толкает в бок, и я открываю глаза. За окном, в круге света порхают одинокие снежинки, теряются во тьме.

В спальне предрассветный полумрак. Все спят, лишь тихо посапывают во сне.

Спит весь детский дом. Стоит мертвая тишина. Ни шороха, ни звука. Но вдруг откуда-то из глубины доносятся еле слышные всхлипывания. «Кто-то из маленьких!» — проносится в голове. Я неслышно соскальзываю с кровати, сую ноги в холодные тапочки. Стараюсь не производить шума. Но одна голова все же поднимается с подушки. Это Папучи удивленно таращится на меня. Я прикладываю палец к губам. Он снова бухается на подушку и проваливается в сон. Интересно, что ему снится? Возможно, какой-нибудь сверкающий, весь новенький паровоз с серебристыми вагонами, а в вагонах мы все — Кучуна и Джанико, Носатик и Отойя, Зяблик и Гусенок, Валерка и Ромка, Утенок и Головастик... Куда же везет нас поезд?..

Две последние комнаты во втором крыле здания занимают дошколята. Мне кажется, что всхлипывания идут оттуда, и я на цыпочках крадусь по коридору.

Сперва заглядываю в спальню мальчиков. На детских кроватках спят девять пацанов. Десятая кровать разворочена, хозяина не видно. Я вглядываюсь в спящих и обнаруживаю, что нет Датучи Цкипуришвили, скорее всего отправился к одной из своих сестер. Остальные богатыри крепко спят — кто уткнувшись носом в подушку, кто разметав руки в стороны, кто свернувшись в клубочек. Все налицо. Звиад, с остриженной наголо, круглой, как мяч, головой, Кнопка-Важика, хромоножка Лаша, херувимчик Нукри, у которого примерно раз в месяц случаются приступы астмы, плутуватый Сосика, вечно выклянчивающий что-либо: «Дай семечек!», «Дай жвачку!», «Дай куснуть яблоко!» — крепыш и здоровяк, круглый, как колобок, Васико, Сережа, нещадно коверкающий грузинские слова, — ума не приложу, как его только понимают не знающие ни слова по-русски сверстники, Ушастик, с ушами-лопухами и неизменным пальцем во рту...

Я заглядываю в соседнюю комнату... Здесь тоже тускло мерцает ночник, освещая восемь точно таких же, как у мальчишек, детских кроваток. Восемь девочек — трех-пяти лет... Вот четырехлетняя Этери — спит сладко, розовые губки приоткрыты, трехлетняя Света — светлый локон свисает на лоб, на виске пульсирует



голубая жилка, пятилетняя Наили — темные волюсы разметались по подушке, вот четырехлетняя Мамиствала, кругленькая, конопатенькая евреечка, своей огненно-рыжей шевелюрой, она может соперничать с Отойей; трехлетняя Гогуца острижена наголо, и не поймешь — девочка перед тобой или мальчик; короткая стрижка пятилетней Теоны образует вокруг лица каштановый шлем, под соболиными бровями чуть подрагивают веки — будто вот-вот откроет глаза; Мокона, которая и по-мегрельски-то изъясняется с трудом, а других языков, естественно, не знает. У нее и днем румянец во всю щеку, а уж во сне разалелась, что твоя роза... И наконец, Мариха...

Мариха не спит. Смотрит на меня испуганно, с удивлением, вроде не плачет, глаза сухие, но время от времени судорожно всхлипывает.

Мариха новенькая. У нас она только со вчерашнего дня. Привезли ее женщина в белом халате и милиционер — как преступницу какую! У нее и вид был, как у злостной правонарушительницы, приготовившейся понести заслуженную кару.

- Чего ты ревешь?
- Боюсь!
- Может, пи-пи хочешь?
- Ага!
- Ну так пошли!

Я беру ее на руки, опускаю на пол, шарю под кроватью в поисках тапочек, которые куда-то задевались, наконец нахожу и кое-как — без привычки трудно — напяливаю их на крошечные ступни.

— Только тихо, а то перебудим всех!

Девочка доверчиво протягивает мне ладошку. Я довожу ее до туалета.

- Ну, иди!
- Боюсь!
- Чего ты боишься? Там светло, и мальчишки туда не ходят, это девчачий туалет!
- Боюсь!
- Да иди же, а я тебя тут подожду!

Не переставая оглядываться, Мариха наконец открывает дверь, заходит. Вскоре до меня доносится еле слышный шепот:

— Ты здесь?

— Здесь я, здесь, не бойся!

Она выскакивает пулей, как будто за ней гонят-
ся, но на лице — улыбка.

— Там кто-то был, я так испугалась!

— Да никого там нет, пошли!

Мы тихо возвращаемся в спальню.

Я довожу Мариху до постели, укладываю, накрываю одеялом. Все!

Но она неожиданно заявляет:

— А у меня мамы совсем нет, и папы совсем нет!

— Глупости, откуда ж тогда ты взялась?

— А ниоткуда...

— Будет у тебя мама, и папа будет. А пока, если хочешь, я буду твоим папой!

— Таких пап не бывает! — В голосе Марихи печаль.

— Да я не вправду буду, а так, понарошку! Только никому об этом не говори! Ладно?

— Папочка! — внезапно окликает меня плутовка.

Я останавливаюсь.

— Поцелуй меня!

Я осторожно чмокаю ее в щеку — спи! — и выхожу из спальни...

Постель моя совсем остыла. Я натягиваю одеяло до подбородка и закрываю глаза. Но сон нейдет. Со мной так бывает. Начинаю о чем-то думать, и сон пропадает. Что только ни делаю, чтобы заснуть, но все напрасно...

Я думаю о Марихе. Что и говорить, свалал я дурака, но уж очень хотелось успокоить ее. Сказал бы уж — буду братом, а то — папой. Дурак! Вот возьмет и назовет меня папой при всех. Засмеют ведь! Тот же Куцна Чедия не упустит случая!..

Интересно, как жила Мариха раньше?

Она сирота. Но ведь были же у нее когда-то родители, что же с ними стало?

Лежу и придумываю биографию для Марихи. Но какая такая биография может быть у четырехлетнего ребенка?! Родилась... а дальше? Хотя, если вдуматься... Была же у нее мать? Конечно, была. Скорее всего молодая... только-только окончила школу. Глупая еще, неопытная. Вот и соблазнил ее какой-то негодяй... Нет, не так... Мать была уже старая, кончила инсти-

тут, работала, получала хорошую зарплату... были у нее друзья, знакомые... В маленьком городке все ее знали. От женихов отбоя не было... А она взяла и влюбилась в женатого... Может, он уже и разлюбил свою жену, но у него были дети, целых четверо — две девочки и два мальчика... Не мог же он их бросить... Они встречались тайно. Наверное, он клялся, что скоро оставит семью... но так и не оставил. А она вскоре почувствовала, что беременна. «Плод любви» — так пишут в книгах! Затягивалась все туже — чтоб живот не был виден. Не дай Бог, соседи заметят, — со свету сживут! Мариша еще не родилась, а уже была скована — как в тюрьме!..

Узнал он о ребенке—и куда только подевалась вся его любовь! Вспомнил вдруг жену и детей. Ну и Маришина мамаша спохватилась, что пора что-то предпринимать... Да и о родственниках подумать надо. Городок маленький, все у всех на виду. Вот и притворилась она, что у нее рак, чтобы была причина податься в Тбилиси. Там и родила. А родственникам лапшу на уши повесила, что ничего страшного-де у нее не нашли, опухоль оказалась, слава Богу, доброкачественной. А Бог (а может, и дьявол) услышал ее вранье и через три года и наслал на нее рак. Рак груди — ведь Маришу она не кормила...

Я быстро открываю глаза... Сердце колотится, болит грудь, как будто рак вырезали у меня...

Что это я напридумывал! Откуда столько злости?! «А у меня мамы нет, совсем нет, и папы совсем нет!» Сама ведь сказала. С неба свалилась, вот как эти снежинки! Бог ее создал, приделал ей невидимые ангельские крылышки и спустил на землю. С этой минуты и началась ее жизнь. Видно, была совсем кроха. Может, и семимесячная. Говорят, семимесячных держат в роддоме долго, да и брать таких желающих особенно нет. Лежала себе в пеленках, хныкала потихоньку и знать не знала, где появилась на свет — то ли в царских хоромах, то ли в лачуге бродяжки.

Впрочем, почему обязательно в лачуге?.. Не похоже! Перевели ее потом в просторный белый дом, где много таких, как она. Растут себе, только вот ходить начинают поздно, и говорить тоже. Некому с ними заниматься: Не то, что с теми, кто в хоромах родились.

Те только чихнут, а уж к ним бегут сорок нянек и мамок — ах, простудился ребенок, ветерок на него подул! А в просторном доме, в белой палате хоть лопни от плача — ни одна из сорока не подойдет...

— Ты опять не спишь? — поднимает голову Папучи.

— Сплю! — буркаю я в ответ и натягиваю одеяло на голову.

Вскоре я и вправду засыпаю. И снится мне сон. Будто заблудились мы в снеговой пустыне. Снег валит такой, что ничего вокруг не видно. Холодно! Дороги не знаем. Мариха просит: «Возьми меня на руки». Поднимаю я ее и бреду куда-то наугад. Рядом идет Мимоза Качия, ни на шаг не отстает... Вся она такая светлая и прозрачная, что кажется мне призраком. Но нет, это Мимоза, я знаю наверняка. За нами бредут еще какие-то девчонки и мальчишки... Кто-то спрашивает: «Ребята, куда же ведет нас Никанор Бжалава?..»

С подозрением спрашивает: «Куда же ведет?..»

* * *

Отец будто привиделся ей во сне. Девчужке было лет пять. Наказанная за какую-то шалость, она стояла в углу... Запомнился ей какой-то коротышка, кажется, даже лысый. Вначале на стене висела фотография, потом она куда-то исчезла. Как ее сняли, девочка не заметила, но что-то от той фотографии в памяти все же осталось. А тогда — когда она, пятилетняя, стояла в углу — мать ругалась с отцом. Мимоза наблюдала за ними расширившимися от страха глазами. Мать громко и сердито выговаривала отцу, время от времени всплескивая руками. Смысла слов Мимоза не улавливала. Отец не отвечал, уставившись куда-то в пространство. Девочке хотелось спросить, из-за чего они ссорятся, но она не осмелилась...

Отец вздохнул, подошел к Мимозе, нагнулся и поцеловал ей ручку. Глаза у него были печальные и виноватые.

— Оставь ребенка! — крикнула мать, и от ее окрика Мимоза заплакала. Мать схватила девочку на руки, прижала к груди и быстро-быстро начала повторять: — Моя, моя, моя!..

Отец вышел. Больше Мимоза его не видела. Отец погиб.

Нет, эта ссора была ни при чем. Наверное, они ссорились и раньше. Просто Мимоза не помнила этого. Не сошлись характерами — вспоминались ей слышанные от кого-то из взрослых слова. Возможно, и в тот раз родители сами не знали, из-за чего вспыхнула ссора. Но отец вышел из дому какой-то потерянный, работал как в тумане и упал с девятого этажа недостроенного дома.

Мать в полном смысле слова обезумела. Она билась головой о стенку и пронзительно кричала:

— Это я его убила, я... я!..

Соседи с трудом утихомирили ее. Потом матери стало плохо с сердцем, и ее увезла скорая. Уже много времени спустя Мимоза узнала, что мать ждала ребенка и у нее случился выкидыш.

Из больницы мать вышла осунувшаяся, похудевшая. Обняла дочь и горько заплакала. С тех пор она очень переменилась — говорить стала тихо, не смотрела людям в глаза, все ее заботы сосредоточились на дочери.

Они жили вдвоем в маленькой однокомнатной квартире. Дом был старый, прихожая такая крохотная, что двоим в ней было не разминуться. Кухня — и того меньше — выходила на узкий и длинный балкон, где был нагроможден всякий хлам, не поместившийся в комнате. Но им двоим места хватало. Мать иногда говорила, что, если кто-нибудь приедет, она поставит в кухне раскладушку. Но кому было приезжать? Родственников у них не было, близких людей тоже. Никто о них не вспоминал. Но матери с дочерью никто и не был нужен. Они хорошо чувствовали себя и вдвоем.

Мать работала фельдшершей в больнице. Часто дежурила по ночам и перед уходом всегда спрашивала Мимозу, не боится ли она оставаться одна. «Не забудь закрыть дверь на задвижку, если кто позвонит, не открывай, а постучи в стенку соседям», — каждый раз наставляла она дочь. «Я не боюсь, мама!» — храбрилась Мимоза, хотя сердце у нее замирало. Оставшись одна, она спешила запереть дверь, потом забиралась под одеяло и допоздна читала. Начитавшись до одури, Мимоза засыпала, но при малейшем шорохе—

просвистит ли ветер на балконе, протопают ли за стеной припозднившийся сосед, проедет ли по улице машина — вздрогнув, просыпалась, садилась на постели и напряженно вслушивалась... На рассвете раздавался скрежет ключа. Это возвращалась с дежурства мать.

«Ох, и крепко же я спала», — безмятежно потягиваясь, бормотала Мимоза, чтобы успокоить ее.

Получала мать немного, но больные любили ее и иногда совали украдкой в карман халата деньги. Не Бог весть сколько, но рублик к рублику — кое-что набиралось. Так и жили. Мать старалась, чтобы девочка была и одета и обута не хуже других. Мимоза тоже как могла заботилась о матери. К приходу с дежурства ее всегда ждал на столе разогретый завтрак. Они сидели за стол и, как две подружки, увлеченно делились новостями — мать передавала больничные сплетни, дочь рассказывала о школьных делах.

Но однажды все как-то сразу изменилось. Мимоза заметила, что мать пришла с работы заплаканная, — и это уже не в первый раз! Она ни о чем не спросила, — если можно, мама расскажет сама, — но про себя подумала: наверное, какие-нибудь неприятности в больнице, — и на этом успокоилась, хотя, что это могут быть за неприятности, представляла смутно. В мире взрослых вообще много непонятного! Как-то утром, только открыв глаза и даже не подняв еще голову с подушки, Мимоза увидела мать перед зеркалом. Та расчесывала волосы. Ничего в этом необычного, конечно, не было, но Мимозе показалось, что причесывается мать не так, как всегда... Кокетливее, что ли... Она укладывала волосы то так, то эдак, словно примеряла прически, и смотрела на свое отражение оценивающим, вроде бы посторонним, взглядом. Ничего как будто не произошло, но Мимозе почему-то стало страшно, и севшим вдруг голосом она окликнула мать:

— Мама!

Женщина вздрогнула, как будто не ожидала, что в комнате есть кто-то еще. Ей-то чего было бояться, но Мимоза отчетливо почувствовала, что матери как-то не по себе. Привычными движениями она небрежно заколола волосы и повернулась к дочери:

— Ты, оказывается, не спишь?

Эта нарочитая небрежность, по-видимому, ^{должна} была обозначать, что ничего особенного не происходит, просто мать позволила себе небольшое развлечение, но уж лучше бы она продолжала кокетничать.

В пятницу, возвращаясь со школы, Мимоза увидела мать с каким-то незнакомым мужчиной. На матери был белый халат, руки она держала в карманах с нарочито деловым видом, будто хотела сказать: не подумайте чего плохого, разговор носит чисто служебный характер. Мужчина казался немного моложе матери, впрочем, сколько ему лет, было не понять. Про таких говорят — мужчина без возраста. Серый, в полосочку, костюм, такой же галстук и серая мягкая шляпа. Держался он скованно, на некотором расстоянии от матери — как будто соблюдая дистанцию. Слушал мать, всем своим видом выражая внимание.

Первым движением Мимозы было подбежать к матери, но что-то остановило ее, и она отвела глаза. «Эй, смотри! Твоя мать с каким-то!» — дернул ее за рукав одноклассник. «Это сотрудник!» — пряча глаза, соврала Мимоза и бегом бросилась к дому.

Матери долго не было, а Мимозе не терпелось спросить, кто этот мужчина. Но когда мать наконец пришла, она ничего не спросила. «Запоздала, работы много», — нерешительно промолвила мать. Вид у нее и вправду был утомленный. Мимоза сама бы не могла сказать, что ее так обидело, но ночью долго плакала, зарывшись в подушку. Мать спала и ничего не слышала.

Прошла неделя, и ничего подозрительного не произошло. Жизнь вошла в свою колею. Мимоза убедила себя, что все выдумала — чересчур подозрительная, вот и навоображала Бог знает что. Она успокоилась, повеселела. Теперь, пожалуй, она даже могла бы спросить мать, кто был тот мужчина в сером, да как-то не пришлось, тем более, что у матери, действительно было много работы.

Как-то вечером мать вдруг объявила:

— Завтра я свободна. Куда пойдём — в театр, в кино, в цирк?

Мимоза взглянула на нее с подозрением. Ей пока-

залось, что у матери слегка нарумянены щеки, и это вызвало неприятное чувство.

— Никуда! Завтра у меня много уроков, — коротко ответила она.

Мать промолчала. Но когда назавтра она открыла вернувшейся из школы Мимозе дверь, девочка сразу поняла — что-то произошло! При виде дочери мать как-то смешалась, покраснела и быстро прошептала:

— У нас гость!

Так и есть, тот самый мужчина!

— Мимоза, доченька, поздоровайся с дядей Ладико!

Сегодня дядя Ладико тоже был весь в сером. Верхняя пуговица сорочки была расстегнута, и оттуда вылезали кустики бесцветной растительности. Он и весь казался каким-то бесцветным, хотя и был довольно красив.

По всему было видно, что он чувствует себя как дома, от прежней скованности не осталось и следа.

— А-а, это та самая Мимоза, которая не хочет ни в театр, ни в кино, ни в цирк? Может, она не хочет и мороженого или пирожных?

Мимоза действительно ничего не хотела. Кроме одного, — чтобы этот «дядя Ладико» сгинул навсегда.

Но он не сгинул, более того — остался насовсем, и Мимоза ничего не смогла с этим поделать.

Они не могли спать втроем в одной комнате, ведь Мимоза была уже взрослой, и мать постелила ей в кухне, втиснув маленькую тахту между холодильником и газовой плитой. А стоявший там раньше обеденный столик выдвинула на середину, и Мимоза так и дело натыкалась на него.

— Здесь тебе будет удобно, никто не помешает, — с притворным оживлением сказала мать.

— Да, мама! — послушно отозвалась Мимоза.

Вся квартира наполнилась каким-то непривычным, чужим шорохом, будто исходящим от невидимых призраков, и Мимоза никак не могла уснуть. Из комнаты доносился непрерывный шепот. И о чем можно столько шептаться? Видно, ссорятся, думала Мимоза. Слов не было слышно, хотя она невольно напрягала слух. Вначале доносилось только невнятное бормотание, но постепенно голоса становились громче — решив, что де-

вочка спит, они, видимо, забывали об осторожности, а потом и вообще о ее существовании.

Мимозу охватывал страх. Она натягивала на голову одеяло и затыкала уши пальцами.

Так продолжалось каждую ночь. Мимоза засыпала поздно, где-то уже после полуночи, а утром с трудом продираала глаза.

— И что это с ней такое!? — недоумевала мать, слепая и глухая ко всему, что творится вокруг. — Совсем обленилась!

Новый жилец прямо исходил лаской, того и гляди замурлычет как кот. Чего только ни делал, чтобы добиться расположения Мимозы! Обращаясь к ней, неизменно улыбался, всячески старался доставить удовольствие, приносил плитки шоколада. Она любила шоколад, но не притрагивалась к плиткам, раздавала в классе ребятам. Как-то раз Мимоза делала домашнее задание. Задача не получалась, и пришлось обратиться за помощью к матери. Той лень было думать, и она попросила жильца.

— Ладико, помоги ей, милый!

Жилец с готовностью подошел к столу и встал над головой у Мимозы. Положил руку ей на затылок. На девочку будто навалилась огромная тяжесть. Не только затылком — всем телом — ощущала она прикосновение этой чужой, холодной, влажной руки.

Бессмысленно, не разбирая написанного, она уставилась в тетрадь. А жилец, взяв карандаш, в минуту решил задачу, шутливо взъерошил Мимозе волосы и, довольный, отошел. У нее будто что оборвалось внутри. Все тело дрожало мелкой, противной дрожью, и она долго еще не в силах была переписать задачу на белом.

Может, зря она так? В конце концов этот человек не сделал ей ничего плохого. Даже наоборот! Всячески — и словом и делом — старается показать, что хочет ей добра. Откуда же тогда это ощущение опасности?.. В сказках злым всегда бывает леший, колдун или дэв, а добрым — царевич, крестьянский сын или фея. А в жизни разделить добро и зло так трудно! Жилец ведь довольно красив — что лицом, что фигурой, и на дэва ничуть не похож. По правде говоря, он даже слишком хорош для матери — она-то ведь уже

немолода. Может, отсюда и идет ее, Мимозино, недоверие к этому красавчику? Может, она меньше боялась бы его, будь он седым и морщинистым, пусть даже строгим? Ей бы легче было называть такого человека отцом. Мать столько просит ее об этом, что она наконец сдалась и стала называть отчима «папа Ладико». Все-таки не просто «папа», хотя, казалось, родного отца и не помнила.

Когда она назвала его так первый раз, он страшно обрадовался, схватил ее, посадил на колени, прижал к себе. Мать сидела тут же, вязала и тихонечко улыбалась, видимо, наслаждаясь этой семейной идиллией. А Мимозе вдруг стало неловко. К тому времени она уже была в том возрасте, когда девочка вот-вот станет девушкой. В каких-то глубинах ее души уже зарождалось смутное, не совсем понятное ей самой томление, и это томление, этот чистый, но волнующий зов грядущей женственности никак не вязался с лаской новообретенного «папы». Ею овладело отвращение, желание оттолкнуть его, нагрубить... Мимоза выскользнула и убежала на кухню. Мать и «папа Ладико» долго чему-то смеялись, и в этом смехе ей тоже чудилось что-то подозрительное.

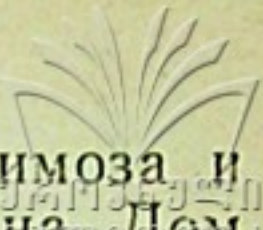
С того дня отчим стал с ней смелее. Иногда он смотрел пристальным, каким-то тяжелым взглядом, и от этого взгляда все тело у нее покрывалось мурашками... Она сама не знала, было ли в этом что-то плохое... Вернее, не хотела знать. При одной мысли об «этом» ее охватывал стыд... И все же по ночам, лежа в постели, она снова и снова возвращалась к ней, и тогда возникало неукротимое желание — бежать, немедленно бежать из этого дома! Но куда?.. У нее не было никого, кроме матери. Кто же приютит ее, кто защитит от неведомой опасности, которую даже не назвать словами?

Ох, уж эти нескончаемые ночи, когда задыхаешься в тесной кухоньке, а рядом с тобой шуршат невидимые в темноте тараканы и пыхтит, словно тучный астматик, давно отслуживший свое холодильник. Слышно, как по улице с воем и грохотом проносятся машины, а из комнаты ползет бесконечный шепот. Слов не разобрать, но голос у матери то плаксивый, то угрожающий, а в ответах Ладико прорывается раздра-

жение. И в такие мгновения Мимозе становится жалко мать — хотя к жалости примешивается брезгливость, — хочется вскочить, закричать... но она не решается.

Как-то матери предстояло ночное дежурство. «Будь умницей», — попрощалась она с дочерью. «Будь умницей», небось ему такое не скажет», — промелькнуло в голове у Мимозы... Она поудобнее устроилась на постели и раскрыла учебник.

Они недавно отужинали, но Ладико, как назло, захотел чаю. Вышел на кухню, сам вскипятил чайник и налил себе. «Ты не будешь?». Мимоза подняла глаза, мотнула головой и снова уткнулась в книгу. Но ей не читалось, смысл фразы ускользал. Отчим неторопливо помешивал ложечкой в стакане, отпивал чай маленькими глоточками и при этом не сводил с девочки глаз. Ей стало не по себе, но она постаралась не показать вида. Наконец он закончил чаевничать, убрал посуду, протер стол тряпкой, выбросил крошки в мусорное ведро, пожелал Мимозе спокойной ночи и вышел из кухни... Мимоза долго сидела неподвижно, прислушиваясь к каждому шороху за стеной. Вот он подошел к окну, закурил папиросу — в кухню проник слабый запах табака, швырнул в форточку окурок — что, если кому на голову?.. Зашел в ванную, открыл кран, слышно, как шумит вода... Вернулся в комнату, походил... И чего ходит?! Вздыхает. Можно подумать, что забот у него полон рот! Включил радио, выключил... Не любит классическую музыку... А теперь, кажется, раздевается... Так и есть — заскрипела кровать... Лег... Наконец-то тихо... Что это? — Кровать опять заскрипела... Встает, что ли?.. Нет, тихо!.. Мимоза перевела дух... Тихонечко разделась, повесила платье на спинку стула. Осторожно, чтобы не шуметь, улеглась... Господи, встает!.. Нет, показалось!.. В квартире тихо. За окном тарахтит машина. Темно. Весь дом спит. У Мимозы тоже слипаются глаза... Жилец поднимает голову с подушки, наклоняется, достает из-под кровати огромный топор, пробует острие. Встает, подходит на цыпочках к ней и заносит над головой топор. «Мама, мама!» — пытается крикнуть Мимоза, но голоса нет — пропал от страха, сердце выскакивает из груди. Лицо отчима совсем близко, в темноте оно почти неузнаваемо — какая-то дьявольская харя, даже рожки торчат.



«Мама!» — с трудом выдавливает из себя Мимоза и вся в холодном поту просыпается. Кругом тишина. Дом погружен в сон. Из комнаты доносится похрапывание Ладико... На Мимозу снова накатывает дремота... Будит ее материнский голос. Опоздала... Солнце уже совсем высоко.


— Вставай, дочка, полдень! Сонная болезнь на тебя напала, что ли?

— Всю ночь спала как убитая, не пошевелинулась! — смеется Ладико. — Как сурок! — и, немного помолчав, добавляет: — Вот что значит детство — ни забот тебе, ни хлопот!

Ни забот, ни хлопот? Знал бы кто, какая тяжесть у нее на душе. Да кому откроешься? С каким страхом ожидала она каждый раз ночного дежурства матери!

А мать дежурила все чаще — нужны были деньги. Ладико нигде не работал и целыми днями околачивался дома. Если и выходил, то только во двор, поиграть с соседями в домино. «Не уходи!» — как-то, не удержавшись, попросила Мимоза мать. «Ты что, думаешь мне это в удовольствие — ночами не спать? — принужденно улыбнулась мать. — Я уже в старуху превратилась от этих бессонных ночей, вон сколько морщин! Скоро муж бросит — кому нужна такая?! — И взглянула испытующе: — Ты что, чего-то боишься, скажи на милость?». Мимоза промолчала. Что она могла ответить? А жилец окончательно освоился в доме. Уже никого не стеснялся. Разгуливал по комнате голый, в обтягивающих плавках. Одетый он казался худощавым, но тело дряблое, кожа висит. Мимоза брезгливо отводила глаза, к горлу подкатывала тошнота. Такое впечатление, что, куда ни поставь ногу, везде натыкаешься на огромную, заполнившую все пространство медузу. Под его взглядом Мимоза чувствовала себя обнаженной, и это пугало ее. Когда матери не было, она так и ложилась в халате. Зайдя в ванную, тщательно проверяла запор. Все казалось, что отчим стоит у двери и трогает ручку. Однажды отчим и впрямь подергал ручку. «Ты там?» — спросил он. И больше ничего, но Мимоза долго не могла успокоиться.

Прошло почти два месяца. В ту ночь мать опять дежурила, а Ладико рано улегся спать. Мимоза, как обычно, сидела на своей тахте и учила уроки. Но как-



то вяло и рассеянно. Последнее время она вообще стала меньше заниматься, и классный руководитель даже сделал ей замечание. Вот и сейчас она рассеянно полистала учебник, но сосредоточиться так и не смогла. Махнув рукой, потушила свет и улеглась... В голову лезли всякие мысли — о том, как уныла и безрадостна ее жизнь, о матери, которая, занятая своими переживаниями, стала какой-то чужой, о погибшем отце, почти не оставившем по себе воспоминаний, о «папе Ладике», само существование которого нарушило привычный уклад... Она чувствовала себя как в клетке, хотелось вырваться, очутиться на воле. Даже представила себе: вот она выходит из дому, каким-то образом оказывается за городом — перед ней расстилается широкое поле, поросшее густой, сочной травой с вкрапленными в нее белыми головками ромашек. В лицо дует прохладный ветерок, освежает душу. На краю поля темнеет перелесок, в нем журчит, постукивая светлой отполированной галькой, прозрачный ручей. Мимоза сбрасывает с себя платье и осторожно ступает в воду. Теплые струи ласково обволакивают ноги, мелкие камешки щекочат ступни. Мимоза погружается в воду, всем телом отдается острому наслаждению. Вода перекачивается через грудь, живот, льнет к ногам... Она чувствует себя сказочной феей — нежной, прекрасной, только очень уж беззащитной. Ее страшит скрытая сила, таящаяся в зеленом кустарнике, в нагромождении валунов... Вот один из них — черный, огромный — словно оживает, сдвигается с места, превращается в гигантского краба... Краб раскидывает мохнатые клешни, царапает камни, с трудом перетаскивая свое безобразное туловище, движется в ее сторону... У Мимозы от ужаса останавливается сердце, холодеет в груди... А мохнатое чудовище все ближе. Оно странным образом походит на человека, ослабившегося в омерзительной усмешке. Мимозе чудится в нем что-то знакомое... Кого-то краб напоминает. Она мучительно пытается вспомнить — кого, но силы покидают ее, в голове мутится... Чудище обхватывает ее своими страшными клешнями... С криком Мимоза просыпается, пытается прийти в себя... Но что это? Сон будто продолжается. Она чувствует на своем теле что-то чужое, тяжелое... Рука! Кто-то лежит рядом с ней.

Мимоза в ужасе вскакивает, мчится в ванную, запирается, бессильно опускается на холодные плитки... Где сон, где явь? Все смешалось! Из глаз градом льются слезы. Раздается стук в дверь — осторожный, несмелый... Голос отчима: «Мимоза, милая, это я. Чего ты так напугалась?!». Мимоза не отвечает, ее душат рыдания... Так она и отсиживается взаперти в ванной до прихода матери...

За завтраком Ладико с притворной улыбочкой сказал матери:

— Не любит меня твоя дочь, ох не любит! Может, я, конечно, и сам виноват — не сумел найти к ней подход!

— С чего ты взял, что не любит! — Мать подвинула Мимозе хлеб с маслом и задержала взгляд на ее лице: — Что-то ты похудела. Плохо ешь, наверное!

— Расстроила меня сегодня! — Ладико нагло смотрел на нее, и Мимозе кусок не шел в горло. — Хотел разбудить ее, только дотронулся, так она вскочила как сумасшедшая. Будто я чудовище какое! Самому совестно стало.

Мать осуждающе покачала головой.

— И не стыдно тебе?! Не видишь, как отец тебя любит?

Мимозе было стыдно, хоть и не ясно, за что.

Дня через два, когда мать собиралась на дежурство, она притворилась, что ей нездоровится.

— Что болит? — всполошилась мать.

— Не знаю!

— Ну, значит, выдумываешь! Просто в школу не хочешь завтра идти. Так бы и говорила, а то — нездоровится!

Мать ушла.

Мимоза легла, но заснуть боялась. Пугало, что привидится тот же страшный сон, но еще больше то, что может произойти наяву. Она плотно закуталась в одеяло. Ее била дрожь. Отчим тоже не спал, всю ночь кряхтел, ворочался с боку на бок, а иногда вставал, курил, потом ходил по комнате, включал свет, снова тушил... На рассвете, когда Мимоза уже с трудом боролась со сном, Ладико заглянул в кухню. Он был в одних трусах и весь скрючился от холода.

— Свихнуться можно! Ты чего не спишь? — го-
лос у него был хриплый.

Мимоза отодвинулась к самой стене, натянула на себя одеяло — стиснула края так, что стало больно руке.

Отчим по-свойски присел на постель.

— Что-то сон пропал. Столько мыслей крутится в голове...

Мимоза слушала его хриплый голос, но не понимала, к чему он ведет. Может, у него какие-то свои заботы, и ему хочется раскрыть душу, а, кроме нее, никому...

— Холодно! — поежился Ладико. Тело у него покрылось гусиной кожей. — Никак не согреюсь. — Он посмотрел на Мимозу: — И тебе холодно? Чего ты дрожишь? Хочешь согрею?

Мимоза хотела только одного — очутиться как можно дальше отсюда! Словно испуганный звереныш, она жалась к стенке и тряслась, не в силах вымолвить ни слова.

Отчим потянул за край одеяла. Мимоза еще судорожнее стиснула его, но он даже не почувствовал ее слабого сопротивления. Занеся свою большую, грубую лапу ей за спину, он оторвал ее от стенки...

Мимоза заплакала... Отчим отстранился, посмотрел на нее с удивлением, потом ласково прошептал:

— Не бойся, дурочка, я ничего плохого тебе не сделаю... Что я, людоед, что ли? Чего ты взъерошилась!..

Слова звучали успокаивающе, но Мимоза чувствовала на спине его руку — такую тяжелую, что, казалось, вот-вот переломится позвоночник. У нее не было сил защищаться, разве только слезами...

Внезапно раздался резкий звонок в дверь. Отчим вскочил, бросился в комнату и уже оттуда сонным голосом крикнул:

— Кто там?

Наверное, мать. Больше вроде бы никому.

Отчим прошаркал к двери, открыл и с нарочитой радостью в голосе воскликнул:

— А, это ты? Что так рано?

— Отпросилась, — шепотом ответила мать. —

Вчера мне показалось, что девочка что-то не в духе. Все думала — не заболела ли...

— С чего ей болеть? — Голос у Ладико был ^{16.11.53}сильный.

— Вот взгляни — свернулась клубочком, как кошка!

Мимоза опять натянула одеяло на голову. Дышать стало совсем нечем. Она почувствовала, как мать осторожно, чтобы не разбудить, заглянула в дверь. «Спит, слава Богу!» — и вернулась в комнату, к своему драгоценному Ладико. Потом Мимоза услышала привычное нытье — устала, сил никаких нет. Лечь, что ли, может, вздремну! Заскрипели пружины... К этому времени совсем развиднелось, пора было в школу...

Весь день она чувствовала себя не в своей тарелке, кружилась голова. Ей опять сделали замечание — что с тобой происходит?! Совсем не слушаешь!.. Постепенно Мимоза пришла в себя, страх прошел, тем более что теперь две ночи мать будет дома. Может, рассказать ей? Хотя кто знает, что произойдет за два дня! Вдруг отчим пойдет за папиросами, станет переходить улицу, а тут из-за угла откуда ни возьмись машина...

Но ничего похожего не произошло. Вечером мать повела ее в кино, одну, без Ладико. Они поели мороженого, посмотрели картину, а на обратном пути зашли в парк, посидели на скамейке, понаблюдали, как садится солнце, как подкрадывается темнота, меняя привычные очертания предметов. Но вот зажглись тусклые желтые фонари, и очарование исчезло. У Мимозы почему-то сжалось сердце. Она прижалась к матери.

— Мама, я уже взрослая?

— Взрослая? — растерянно переспросила мать. — Не знаю. Конечно, уже не маленькая, но и не взрослая — ты еще столького не понимаешь в жизни!

Ответ не удовлетворил Мимозу.

— Мамочка, не нужен он нам, — жалким голосом прошептала она.

— Кто, он? — так и вскинулась мать, сразу поняв, о ком речь.

Вопрос прозвучал так холодно, почти враждебно, что Мимоза сразу замкнулась, ушла в себя. Не дождавись ответа, мать начала ныть — жаловалась на

свою несчастную судьбу, одиночество, незащищенность, убеждала, что без мужчины семья — не семья. Мимоза не слушала ее. Вечер был отравлен.

На следующее утро она не встала с постели. «Голова болит», — пожаловалась матери, хотя ничего у нее не болело. Смерть как не хотелось идти в школу, вообще жить не хотелось. «Прыгну с балкона!» — промелькнуло в голове. Она представила, как будет лежать, распластавшись, на асфальте, и по телу пробежала дрожь. Мать казалась встревоженной. Сунула ей под мышку градусник и, хотя температуры не было, заставила проглотить таблетку аспирина.

— Ленью она мается, и больше ничем, если меня спросить! — пробурчал Ладико.

— Ну, что ты, дорогой! Переутомилась девочка, да и перенервничала к тому же! — встала на ее защиту мать.

— Я тоже нервничаю! — отрезал Ладико, хотя, что он имел в виду, было не совсем ясно.

Мимоза раскрыла книгу, но ей не читалось. С трудом вникнув во фразу, она тут же забывала ее. Желая порадовать девочку, мать затеяла печь хачапури. Мимоза поела, но сыр оказался чересчур соленым, и теперь ее мучала жажда, а холодной воды, как назло, не было — из крана шел кипяток.

Вечером все трое уселись перед телевизором. Показывали какой-то зарубежный фильм, судя по началу — интересный. Настроились смотреть, но внезапно погас свет. Ладико от злости только что не скрежетал зубами. Мимоза прижалась к матери, как будто ища защиты от притаившегося в темноте чудовища.

— Мама, у нас с тобой никого нет? — неожиданно спросила она.

— Что значит — никого нет?

— Ну, родственников! У всех есть тети, дяди, в общем — родня...

— Наверное, есть... — протянула мать, пытаюсь вспомнить имя кого-нибудь из близких, но все родственники жили в других городах. — А в чем дело? У тебя есть я, разве этого мало? — Мать произнесла это с такой нежностью, что у Мимозы сжалось сердце и она с трудом удержалась от слез.

Прошел еще один день, а за ним и ночь. Наутро

Мимоза отправилась в школу. Вот сейчас у нее действительно болела голова. «Что-то ты бледная, ска- зала учительница. — Если нездоровится, иди домой, полежи...» «Нет, ничего». — заверила ее Мимоза и просидела до конца занятий. После школы она пошла к однокласснице. Они сделали вместе уроки, посмотрели телевизор, поели...

Домой Мимоза собралась поздно. Шла не торопясь, как на прогулке. Мать заметила издали. Та спешила, видно, опаздывала на дежурство.

— Куда ты пропала, мне давно пора быть на работе! — накинулась она на дочь.

— Идешь все-таки? — безнадежно спросила Мимоза.

— Мы пообедали. Разогреешь себе сама, все на плите!

— Голова болит! — невпопад пожаловалась Мимоза.

Мать в нерешительности потопталась, потрогала ей лоб:

— Вроде бы не горячий! Что у тебя все время болит голова! — Она посмотрела на часы и заторопилась. — Прими анальгин и ляг!

Мать ушла... Искать анальгин было неохота. Она поленилась даже снять школьную форму, так и легла одетая. В квартире было тихо, и Мимоза на время даже забыла о существовании отчима. Но тут в темноте раздался его кашель. Она встрепенулась, прислушалась.

В комнате щелкнул выключатель, зажегся свет, послышалось шарканье. Довольно долго Ладико ходил по комнате. «И чего ходит? — подумала Мимоза. — Наверное, одевается, или что-нибудь ищет». Потом шаги приблизились. У двери в кухню он обо что-то споткнулся и тихо выругался.

В кухне зажегся свет. Отчим безразлично огляделся, взглянул на Мимозу.

— Голова болит! — зачем-то пожаловалась она.

— Голова? Сейчас!.. — Отчим ушел в комнату и через минуту вернулся с таблеткой и стаканом воды. — На, выпей... Сразу пройдет!

Мимоза покорно взяла таблетку, положила в рот, отпила из стакана.



Какое-то время он молча смотрел на девочку. Губы у него кривились в улыбке, а в глазах будто тоже мелькал страх. Потом Ладико потушил свет и вышел из кухни. Включил телевизор.

Мимоза с облегчением откинулась на подушку. Виски продолжало ломить, и она тихонечко — чтобы не услышал отчим — постанывала. Долго лежала неподвижно, уставившись в невидимый в темноте потолок и слушая звуки телевизора.

Потом глаза стали слипаться. Она попыталась прогнать дремоту, но тогда виски сдавило обручем, и, перестав сопротивляться, Мимоза погрузилась в сон. Спала она беспокойно, лихорадочно, боль не отпускала. Сны тоже были какие-то беспорядочные — без начала и конца. От кого-то она, не помня себя от ужаса, убегала, хотя от кого и почему в ужасе — было непонятно. Потом вдруг очутилась в поле, сплошь покрытом ромашками. От сердца отлегло. Свежий ветерок немного облегчил боль. Она начала порхать от цветка к цветку, как бабочка, и незаметно оказалась на другом конце поля, за которым темнел лес. Лес был ей знаком, она уже была здесь однажды. Вот и ручей. Все так же постукивают камешки, увлекаемые струями воды. Она скидывает с себя платье и ложится в воду. Струи ласково обволакивают ее, перекачиваются через грудь, через впалый, еще детский, живот, худые ноги... Она замирает, уже зная, что будет дальше. Вот оно!... Откуда-то с грохотом скатывается огромный валун, расплющивается, превращается в страшного краба. Объятая ужасом, она не отрывает глаз от черного чудовища, хочет вскочить, но тело не повинуется ей. А краб сдвигается с места, ползет в ее сторону... Все ближе, ближе... Мохнатые клешни шуршат по камням, царапают их, с трудом волочат неповоротливое безобразное туловище. Вот страшная клешня уже зависла у нее над головой, вот тяжело легла на грудь... Все! Клешни сомкнулись у нее на спине, душат... Страшная боль пронзила ей низ живота... Мимоза дико вскрикнула. Ее крик будто прорвал завесу. Она открыла глаза, но сон не исчезал. Навалившись на нее всей тяжестью, чудовище продолжало терзать ей тело... Ужас и боль усилились от дикого, нечеловеческого вопля — то кричала обезумевшая мать...

Мимоза очнулась в больнице. В палате она одна. Бесшумно снуют вокруг какие-то люди в белых халатах. Исподволь сочувственно поглядывают на нее, но смотреть прямо в глаза избегают, словно чувствуют какую-то свою вину... Долго, целую вечность, Мимоза была на грани жизни и смерти. По одну сторону от нее простиралась белая ледяная пустыня, по другую — шелестел густой зеленой листвой прохладный лес... У нее не было права сделать свой выбор, иначе она давно уже растворилась бы в белой мгле. Но, видимо, какая-то чужая, более сильная воля управляла судьбой Мимозы Кацня... И Мимоза осталась жить...

* * *

Гость появился в «Радости» будто из ниоткуда... Вел он себя, мягко выражаясь, подозрительно. Сошел с автобуса у самого леса, хотя до деревни оставалось еще с километр, а до райцентра — добрых пять-шесть. Перебрался через канаву с водой и уверенно пошел по единственной петляющей в зарослях тропинке — с видом человека, знающего, куда она приведет. Прыщ и Бычок заметили его раньше всех. Понимающе переглянувшись, они спрятались за деревом и принялись наблюдать.

Человек, похоже, приехал издалека. На нем были коричневые вельветовые брюки и кожаная куртка. На голову нахлобучена сванская шапочка. В очках. С фотоаппаратом через плечо и плоским «дипломатом» в руке. Но главной отличительной чертой его была борода — каштановая и шелковистая, — это чувствовалось даже на расстоянии.

Держал он себя странно. Как будто никуда не торопится и прогуливается для собственного удовольствия. Время от времени он останавливался, внимательно рассматривал какой-нибудь сухой пенек или растрепанную ольху. В одном месте наклонился и долго стоял так, не разгибаясь. У мальчишек от любопытства захватило дух. Что он нашел там такого необычного? Но когда незнакомец наконец разогнулся, в руке у него был обыкновенный молочай, каких полным-полно вокруг. Вот уж невидаль!

— Чокнутый какой-то! — прошептал Прыщ. В знак согласия Бычок повертел пальцем у виска.

А незнакомец меж тем ушел довольно далеко. Мальчишки осторожно двинулись следом, временами пригибаясь, стараясь стать как можно незаметнее. Вдруг под ногами Прыща хрустнула ветка. До чего же неуклюжий, медведь да и только! Бычок искоса метнул на него такой взгляд, что Прыща передернуло. Он беспомощно развел руками — что делать, случайно!

Незнакомец вроде бы что-то почувствовал, оглянулся, но продолжал идти тем же ровным шагом.

В одном месте тропинка раздваивалась: направо сворачивала к детскому дому, налево — к скале Верасула.

Незнакомец на секунду замедлил шаг, вроде засомневался.

Братья замерли, затаили дыхание.

Но незнакомец уверенно свернул к скале.

— Ага! — тихо воскликнул Бычок с таким видом, будто все стало ему наконец понятно, хотя что тут могло быть понятного! Прыщ захлопал глазами и умоляюще посмотрел на Бычка, словно прося поделиться своим открытием. Ему было немного не по себе. Бычку, надо сказать, тоже, хоть он и старался не подавать вида.

— Не нравится мне все это! — с сомнением прошептал Бычок, и братья вновь, стараясь ступать неслышно, двинулись за незнакомцем.

Тропинка довела до Хрустальной. Выше по течению находилась запруда, где можно было купаться — хотя в такой холод какое купание! — а здесь, где поуже, через речку была перекинута высохшая ольха, и незнакомец перебрался по ней с такой легкостью, словно всю жизнь ходил по канату.

Мальчишки подождали, пока он скроется из виду, а затем одним махом перемахнули через речушку. Незнакомца они увидели в том месте, где главная тропинка сворачивала в сторону. Он стоял и смотрел прямо на них. Бычок принял независимый и даже заносчивый вид — гуляем, мол, сами по себе, и никому до этого нет дела!

Незнакомец улыбнулся, снял очки, протер их, снова водрузил на нос и, не произнося ни слова, продолжил путь.

Братья упрямо двинулись следом. Незнакомец,

конечно, шпион. Это очевидно! Вот только кто его заслал и с какой целью? Это и было необходимо **ВЫЯСНИТЬ**.

Верасула возникает внезапно, там, где отступает лес, на открытой зеленой лужайке, и потому кажется особенно неприступной. Как грозный страж, взирает она на все окружающее.

Незнакомец приостановился, долго смотрел на скалу... Потом аккуратно сложил на валуне дипломат, фотоаппарат, куртку и вдруг, согнувшись пополам, издал пронзительный крик «яя-яя-х!» и резко выбросил ноги вверх, будто мечом взмахнул. Затем, приняв нормальное положение, засмеялся, словно довольный тем, как ловко у него это получилось, удобно устроился на валуне и крикнул:

— Эй, птенчики, покажитесь, дайте взглянуть, какие вы из себя!

Прыща бросило в жар, он аж побагровел, а у Бычка лицо исказилось от злости. Он сунул руку в карман, убедиться, что нож на месте, и нехотя вышел из своего укрытия. Прыщ, нерешительно волоча ноги, последовал за ним.

И вот они оба, понурив головы, стоят перед незнакомцем.

— Итак, вас интересует, кто посмел вторгнуться в ваши владения?—Братья промолчали, только Прыщ в знак согласия громко шмыгнул носом.

— Я — агент икс-ноль-один!

— Как же, агент! — насмешливо бросил Бычок.

— Не веришь? Сейчас убедишься! — Незнакомец достал из кармана куртки записную книжку, раскрыл ее. — Вот здесь у меня записано, что вы братья!

— Близнецы! — нехотя подтвердил Бычок. Не даром незнакомец не понравился ему с самого начала. Теперь же не нравился все больше и больше.

— Я же сказал!.. А если к этому добавить, что вы являетесь питомцами «Радости» и — незнакомец взглянул на часы — удрали с уроков, то, думаю, этого более чем достаточно, чтобы вы убедились в том, что я агент?!

Незнакомец надел куртку и взял свои вещи, как бы собираясь уходить, но потом вроде раздумал и вновь повернулся к Бычку: — У тебя в кармане нож!

Ладно-ладно, можешь не говорить, я и так знаю! Ну, во-первых, носить с собой нож опасно, а во-вторых, для обороны он вовсе уж ни к чему!


Тут незнакомец снова издал свой клич — «яя-ях», свободной рукой надломил толстую ветку и пошел прочь.

Прыщ смотрел ему вслед, раскрыв рот. «Трепач!» — презрительно процедил Бычок. Преследование утратило интерес для обоих. А незнакомец исчез в направлении «Радости».

В метрике он был записан как Дэви Цирдава. Фамилия, скорее всего, была настоящая. Я говорю «скорее всего», так как не исключено, что и фамилия тоже была не его. В записке, прикрепленной к метрике, говорилось, что мальчик совсем беспризорный и фамилия его — Цирдава. Дэви же нарек его милиционер, нашедший мальчонку на перроне вокзала. Может, все оно было и не так, не знаю, но, говорят, в записке еще было написано, что мальчика заберут через год-два и чтобы его никому не отдавали. Но Дэви так никто и не забрал, и домом ему навсегда стал приют, кем-то когда-то бестактно названный «Радостью», хотя как раз радости в нем и было маловато. Позднее, когда Дэви вспоминал не по годам серьезные лица детдомовцев, его охватывала печаль и бессильное желание убить непрошеного крестного, придумавшего это название. Дэви окончил восемь классов и без малейшего сожаления покинул «Радость». Он долго носил в себе ничем не утишаемую боль сиротства и старался не вспоминать прошлое. И не потому, что был неблагодарным, — напротив, он был благодарен всем, кто кормил его, поил, одевал, учил. Просто почувствовав себя в шестнадцать лет взрослым человеком, Дэви понял, что ему надо самому строить свою жизнь. Для начала он окончил профтехучилище... Научился всему понемножку — и столярничать, и слесарничать, и штукатурить, и электропроводку чинить... Одно время работал на строительстве, чтобы приодеться немного... Постепенно перестал чувствовать себя сиротой-детдомовцем, пришла уверенность в своих силах. Дэви засел за книги и вскоре даже рискнул подать заявление в университет. Особых надежд он при этом не питал, но экзамены сдал, был зачислен и, проучившись

пять лет, получил диплом журналиста... Еще на втором курсе Дэви женился — надоело мыкаться по общежитиям, постоянно толочься среди чужих людей, потянуло к семейному уюту — вот он и поспешил. Но женитьба оказалась неудачной. Молодая и красивая жена не захотела жить на студенческую стипендию. Ютиться в убогой комнатенке, ребенка у них не было, и как-то, вернувшись с лекций, Дэви не застал дома ни ее, ни ее вещичек. Ушла... и даже записочки не оставила. Дэви пережил ее уход как оскорбление, ожесточился, уверовал в то, что его уделом всегда будет одиночество. К счастью, профессия журналиста не очень-то располагала к одиночеству. Вскоре он начал сотрудничать в солидной газете, увлекся, а в один прекрасный день — так ведь, кажется, говорится в сказках — его вызвал к себе редактор: «Я слышал, ты рос в детском доме... Так вот, мы получили несколько анонимок из одного детского дома — «Радость» называется. Жалуются на всякие безобразия... Поезжай в эту самую «Радость», разберись и напиши хороший очерк, а заодно и отдохни на лоне природы...»

Может, лучше было отказаться с самого начала, сказать, что с прошлым покончено, и он не желает иметь с детскими домами ничего общего. Да вот как-то не получилось, не отказался... и, только вернувшись домой, отчетливо представил себе, как снова вступит в безрадостные пределы «Радости»... Сердце сжалось, застучало толчками, как иглой, пронзила боль... Дэви прилег на постель, прикрикнул на самого себя: «Без глупостей, пожалуйста! Рано тебе на сердце жаловаться!» Чтобы отвлечься, он пытался припомнить редкие минуты радости, которые Всевышний дарует иногда, спохватившись, даже самым обездоленным. Но в голову лезло одно неприятное. Вспомнилась тяжелая и унижительная сцена. Тогда он был еще совсем маленьким. По «Радости» пронесся слух, что приехали какие-то мужчина и женщина, видно, муж и жена, хотят усыновить ребенка. Он был уверен, что не понравится им, так оно и вышло. Но директор, видимо, думал иначе. Дэви ввели к нему в кабинет. Он стоял ни жив ни мертв, ни на кого не глядя, упрямо не поднимая головы. Гости, вероятно, решив, что он не понимает по-мегрельски, не стесняясь, вслух обсуждали его



внешность: «Рыжий, лицо конопатое! Да и рот раскрыт, как у дебила, вон — слюна течет!». Он пулей выскочил из кабинета на задний двор и, ничего не видя перед собой, пустился к лесу. Сколько он так бежал, не помня себя?.. Наконец упал лицом в траву и дал волю слезам... Позднее его мучило только одно — как он не догадался там же, не сходя с места, бросить в лицо обидчикам: «Не нужны вы мне! Никуда я с вами не пойду! Зря стараетесь!» Теперь, лежа на постели и мучительно прокручивая в голове все подробности этой безобразной сцены, он подумал, что хорошо бы встретить этих людей сейчас и заявить им: «Ну, взгляните на меня теперь! Никакой я не рыжий, и веснушки давно пропали! А вообще-то я вам очень благодарен, что забраковали меня тогда!..» Он понимал, что это всего лишь ребяческие мечты, и на сердце снова налегла тяжесть... На рассвете Дэви уехал с первым автобусом...

Впереди возник забор. Это уже была территория «Радости», ровно расчерченные квадраты. С одной стороны тянулись посадки кукурузы, с другой — ряды чая. Довольно большой участок между ними был отведен под огород и фруктовый сад. Зябко поеживались от холода серые голые деревья...

— Эй!

Человек стоял, облокотившись на забор. Одет он был по-домашнему — на ногах резиновые сапоги, поншенные, пузырящиеся на коленях брюки, свитер домашней вязки, на плечи накинут ватник, вокруг горла обмотан теплый шарф, на голове шапка-ушанка, тесемки, видимо, оторваны, и уши трепыхаются на ветру.

— Что вы там делаете, товарищ? — строго спросил он Дэви. Лицо у человека было узкое, с острым, выдающимся вперед подбородком, маленькие колючие глазки буравили собеседника, нос, крупный, вислый, существовал как бы сам по себе, отдельно, и доминировал надо всем остальным.

Дэви не понравился повелительный тон, но он ответил с улыбкой:

— Ворую в вашем огороде сухую ботву!
Глаза-буравчики стали еще острее.

— Я с вами не шучу, товарищ!

— Директор на месте? — Дэви по опыту знал, что с генералом легче найти общий язык, нежели с сержантом.

— Директора вызвали в район! — голос «сержанта» чуть потеплел.

— Очень жаль! — сухо прокомментировал Дэви.

— Моя фамилия Квирквелия, я заместитель по хозяйственной части! — нашел нужным представиться «сержант».

Когда генерала нет на месте, приходится иметь дело с сержантом, и Дэви сдался без боя. Вынул из кармана удостоверение члена Союза журналистов. Эффект превзошел все ожидания. Квирквелия расплылся в медоточивой улыбке и даже подобострастно изогнулся.

— Опростоволосился, ничего не скажешь! И как это я сразу не догадался! Пожалуйста в дом, прошу! Что же, что нет директора! Мы-то здесь! Давайте ваш чемодан! — Он потянулся за «дипломатом», но Дэви отдернул его — «Ничего, не беспокойтесь, он легкий!»

— Простите, ваше имя?

— Ипполит, батоно, Ипполит Квирквелия! — Он распахнул ногой калитку и пропустил гостя вперед. —

— Сюда, батоно, сюда! — В сгущающихся сумерках Ипполит рукой указывал направление. Дэви прибавил шагу, ему хотелось скорее оказаться в освещенном доме...

— Что же, что директора нет! Прощу! — Ипполит Квирквелия гостеприимно раскинул руки, подобострастно хихикнул и — я сейчас! — выскользнул из комнаты...

Комната, очевидно, была специально предназначена для гостей. В ней стоял диван, стол, несколько стульев и, что главное, — в углу жестяная печь, в которой через минуту уже весело гудело пламя. В комнате было не очень холодно, но гудение пламени создавало ощущение уюта. У Дэви по телу забегали мурашки. Он расслабился и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Ему неудержимо захотелось прилечь, и, чтобы пересилить это желание, он равнодушно спросил мальчугана, возившегося с печкой:

— Как тебя зовут?

Мальчик что-то ответил, но Дэви вдруг отключился и не понял, что именно. Минут через тридцать вернулся Ипполит, от него чем-то пахло, и только через какое-то время Дэви догадался, что пахнет карамелью.

— Устали, небось? Сейчас все будет готово!

— Не беспокойтесь! — слабо запротестовал Дэви. — Мне достаточно чашки чаю!

Он изрядно проголодался, но признаться в этом было как-то неловко. За стеной дети готовились ко сну. Слышались приглушенные голоса, смех, визг, и от всех этих ребячьих звуков у Дэви свело челюсти, будто ему предлагали кусок, по праву принадлежащий кому-то другому.

— О каком чае речь? — засмеялся Ипполит. — Чай будем пить завтра!.. А здесь у нас, — он обвел рукой комнату, — семья, большая семья. А где же видано, чтобы семья встречала гостя чаем?! Сию минуту все будет готово!

И хотя не сию минуту, а через полчаса, но две девочки внесли в комнату корзину, заботливо прикрытую скатеркой. От корзины шел упоительный дух. Две пары глаз с любопытством уставились на гостя. Ипполит незаметно подал знак — брысь отсюда! — и девочки, пересмеиваясь, послушно выскользнули за дверь.

— Может, переберемся ко мне?! — предложил Ипполит. — У меня семья, дом — полная чаша, найдется и доброе винцо, и мягкая постель!

— Спасибо, лучше останемся здесь! — отказался Дэви.

— Здесь так здесь, нам и здесь будет неплохо! — с готовностью согласился Ипполит и проворно накрыл на стол.

Они уселись, взяли стаканы, чокнулись.

— Прошу прощения, я уже отужинал, так что вы на меня не смотрите, угощайтесь! А я, если позволите, скажу пару тостов!

— Я весь внимание!

— Я нарушу принятый у нас порядок тостов — надеюсь, вы не будете возражать, — и выпью... Знаете, за кого я выпью?

— За Отца Небесного! — предложил Дэви.

За стеклами очков глаза его были не видны.

— Нет, за Отца Небесного я выпью в свое время!
— Ипполит указал пальцем куда-то на пол.
— За воспитанников?
— Нет, я хочу выпить за главу нашего большого семейства, за почитаемого всеми нами Дианоза Верулава!

Дэви только сейчас догадался, что его хозяин навеселе, потому от него и пахло карамелью — видно, пытался перебить водочный дух.

— Я кое-что слышал о старике!

— Если кто нашептал вам о нем плохое, не верьте!.. Слушайте меня, я скажу вам истинную правду!.. Дианоз — это человек! Дай ему Бог долгих лет жизни, а после смерти — место в раю!

Ипполит поднял стакан, но глаза его вдруг остекленели. Оглянувшись, Дэви успел заметить чье-то приплюснутое к стеклу лицо. В ту же секунду лицо исчезло, и раздался сдерживаемый изо всех сил смех.

Ипполит перевел дыхание и бессмысленно хихикнул. Потом, окончательно придя в себя, улыбнулся гостю, еще раз пожелал здоровья Дианозу, отпил вина и поставил стакан на стол.

Вскоре за дверью послышалась какая-то возня.

Приложив палец к губам, Ипполит на цыпочках прошел к двери и рывком распахнул ее. В проеме показались двое мальчишек — пыхтя от усердия, они молча тузили друг друга. Свет из открытой двери испугнул их, и они бросились наутек.

— Вот так-то, уважаемый! В таком аду и живем!

— Плотно прикрыв дверь, Ипполит вернулся к столу.

— Никакого спасу от них нет. Посадили на голову!

В жестяной печке гудел огонь, наполняя душу Дэви теплом и умиротворением. Хотелось расслабиться, отдаться истоме, ни о чем не думать. Но мешал хозяин. Он безостановочно говорил, казалось, не заботясь о том, слушают ли его, на кого-то жаловался, выражал недовольство. Эта бестолковая болтовня раздражала Дэви.

Позднее раздался осторожный стук в дверь. Вошла женщина с повязанной головой, полноватая, хотя эта полнота не портила ее, с красными горящими щеками, как видно, только-только от раскаленной плиты. В руках она держала поднос, и, хотя он был прикрыт

белоснежным полотенцем, комнату наполнил сытный дух горячих хачапури.

Дэви вдруг подумал, что этот дух проник в соседнюю комнату, и зримо представил себе, как пригревшись в своих постелях ребяташки тихонечко глотают слюнки. Он бы предпочел раздать хачапури им, хоть по кусочку, но такой жест, конечно, будет расценен как причуда или, еще того хуже, как показуха. Поэтому, дотронувшись до подноса, он только пробормотал с неловкостью.

— Зачем вы беспокоились!

— Какое беспокойство, что вы! — женщина показала в улыбке белые, мелкие, как у грызуна, зубы. Угрюмое выражение исчезло с ее лица, и Дэви понял, что угрюмость придавали ему тонкие, плотно сжатые губы. — Кушайте, пока горячие! — И она сняла с подноса полотенце. Хачапури были уже нарезаны, на четыре куса каждое, и из серединки вылезала щедрая сырная начинка.

— Моя супруга, Элико! — представил женщину Ипполит.

«Элико?» — Дэви пригляделся. В облике женщины ему померещилось что-то очень знакомое, хоть и давно позабытое.

— Элико? — переспросил он. — Вы случайно не дочь Дианоза?

Ипполит вскинул брови. Он уже порядком поднабрался и теперь не совсем понимал, как отнестись к этой неожиданной осведомленности гостя.

У женщины на лице отразилось недоумение, тут же сменившееся еще робкой догадкой. Со сдерживаемой радостью, полувопросительно-полуутвердительно она произнесла: «Вы... Если не ошибаюсь, вы Дэви Цирдава!.. Да, да, конечно... Дэви Цирдава!»

— Здравствуйте, Эля! Так ведь, кажется, называл вас отец!?

— Здравствуйте, Дэви!

Ипполит вертел в руках пустой стакан. На лице его играла насмешливая улыбка.

— Скажите, пожалуйста! Вы оказывается, знакомы... «Эля!», «Дэви!»

Женщина метнула в его сторону испепеляющий взгляд и, не глядя на гостя, сказала:

— Кушайте, кушайте, а потом и на покой... Вы ведь пробудете у нас и завтра!?

Выходя из комнаты, уже в дверях, она бросила мужу:

— Не докучай гостю! Человек хочет отдохнуть!

Ипполит промолчал. Настроение у него явно испортилось.

«Да он никак ревновать вздумал. Ну и ну!» — подумал Дэви. Примитивные переживания Ипполита забавляли его, но все хорошо в меру — и он взял инициативу в свои руки.

— А теперь позвольте мне поднять тост за ваше здоровье!

— Ни в коем случае! — Ипполит протестующе поднял руку, но внезапно сник. — Впрочем... Воля ваша... как пожелаете...

Его разговорчивость куда-то пропала, он вдруг заторопился, прощаясь, промямлил что-то невразумительное — то ли действительно был пьян в стельку, то ли зачем-то притворялся.

Оставшись один, Дэви задумался. Мысли его странным образом вертелись вокруг Элико. Каким нежным, воздушным созданием была она в детстве... Впрочем не таким уж и нежным. Характер и тогда был ой-ей. Вспыльчивый... Все мальчишки поголовно были влюблены в нее, а она, надо же, выбрала в мужья этого сомнительного Ипполита Квирквелия. Дэви почему-то стало грустно. Рядом, за стенкой спало не меньше ста человек, а он чувствовал себя одиноко.

Взгляд его, безразлично скользя по комнате, остановился на окне — и сердце захолонуло от внезапно накатившего ужаса. С наружной стороны к стеклу было приплюснуто чье-то лицо, вернее сказать здоровенная рожа — глаза — как сито, широко расставлены, крупные щербатые зубы, оттопыренные уши, заросший подбородок... «Плакат, — с облегчением догадался Дэви. — всего лишь обрывок плаката... антиалкогольного, потому и рожа такая омерзительная... Какой же озорник сообразил приклеить ее к стеклу?! Правильно рассчитал! Душа у него и в самом деле ушла в пятки от страха».

Дэви открыл окно, с трудом отодрал шершавую бумагу, отшвырнул. Подхваченная ветром, она унеслась

в темноту. Под окном раздалось сдерживаемое хихиканье, а затем топот убегающих ног. В комнату ворвалась ледяная струя. В воздухе кружились редкие хлопья. В свете фонаря они походили на причудливых белых бабочек. Дэви глубоко втянул в себя морозный воздух и закрыл окно. Потом приоткрыл дверь и заглянул в соседнюю комнату. Свет упал на постеленную между кроватями дорожку, размазал очертания фигур на постелях. Стоя на свету, Дэви не мог разглядеть ребят, но чувствовал, что они не спят, и молча таращатся на него. Тогда он заговорщицки поманил их рукой:

— Идите сюда!

Раздалось дружное топанье босых ног. Самые смелые приблизились к двери. Дэви посторонился, пропустил их в комнату, сделал жест в сторону стола:

— А-ну налетай! Дядя Ипполит наказал, чтоб съели все, без остатка!

Он беспокойно ворочался в постели. Было, очевидно, за полночь, а сон все не шел.

Он встал, оделся, накинул куртку.

Везде было тихо. Огонь в печке давно погас, и в комнату прокрался холод.

Стараясь не шуметь, Дэви разворошил в печке головешки и вышел в соседнюю комнату.

В углу кто-то кашлял, натужно, по-стариковски. Дэви присмотрелся — маленький мальчик, одеяло его сползло на пол, и ребенок дрожит от холода. Все его тело сотрясалось от кашля, но он не просыпался. Дэви накрыл его одеялом, подоткнул с боков, чтобы не дуло. Осторожно пощупал лоб — нет ли жара. «Мамочка!» — позвал во сне мальчик. У Дэви сжалось сердце. Он нагнулся к самому лицу ребенка и едва слышно прошептал: «Здесь я, сынок, здесь!»

Потом поправил одеяла еще на двух ребятишках и вышел в коридор. Сюда выходили несколько комнат, где располагалась администрация. Застекленные двери были плотно прикрыты, и все же из-за них в коридор проникал неистребимый конторский дух. Пахло бумагой, чернилами, казенной пылью, чем-то еще. Только в одной комнате тускло светилась лампочка, на стекле играл отблеск пламени. У печки, на короткой для нее тахте, свернувшись клубочком, спала ночная няня.

Открыв английский замок на двери в самом конце коридора, Дэви вышел во двор.

Его обступила кромешная тьма. Лишь у самых корпусов было чуть посветлее от кое-где освещенных окон.

Дэви простоял на крыльце довольно долго. Вглядываясь во тьму, пытался разобраться в своих чувствах. Что-то беспокоило его, то ли извечно мучающие человека вопросы — чего он хочет? к чему стремится? зачем живет? — то ли что-то еще. И вдруг Дэви поймал себя на мысли, что не уедет отсюда так просто, командировка его затянется...

Ветер донес откуда-то несколько пушистых снежинок. Их леденящее прикосновение вывело Дэви из задумчивости. Он глубоко вздохнул, вернулся в дом. Одна дверь была приоткрыта, и Дэви заглянул туда. Это оказалась спальня девочек. В комнате было теплее, и воздух почище. Здесь тоже под самым потолком тускло мерцала лампочка. Дэви оглядел выделяющиеся на подушках разномастные головки. Пусть спят. Может, хоть во сне им удастся уйти от своей гсрькой участи! Он уже собирался выйти из комнаты, как услышал чей-то шепот:

— Дядя!

На одной из кроватей сидела девочка. Ее черные курчавые волосы были взлохмачены, глаза блестели.

Дэви сделал ей знак — тише! — и наклонился над кроватью.

— Ты чего не спишь?

— Не хочется!

Дэви ласково провел рукой по спутанным волосам.

— Как тебя зовут?

— Ануш!

— Надо спать, Ануш, цаватанэм! — Это было единственное армянское слово, которое он знал.

— Да!

Девочка взяла его руку, поднесла к губам, даже как будто поцеловала, во всяком случае он ощутил ее легкое дыхание, потом приложила ладонью к щеке, откинулась на подушку и замерла. Дэви стоял, боясь шевельнуться. Вскоре он почувствовал, что тельце девочки расслабилось, она задышала ровнее и спокойнее. «Уснула!» — Дэви тихонечко высвободил руку.

— Спи, Ануш, спи! — одними губами выдохнул он, и ему показалось, что девочка улыбнулась во сне.

Позднее, лежа без сна в своей постели, Дэви долго думал о мальчугане, имени которого не знал, и о девчушке, которую зовут Ануш.

К утру в комнате похолодало. Печка совсем остыла. Дэви плотнее укутался в одеяло, по-ребячьи свернулся в клубочек. Ему хотелось сжаться, стать совсем маленьким, чтобы удержать ускользающее тепло... И вдруг он почувствовал, что на самом деле стал маленьким, таким, каким был двадцать лет назад. Только это и было реальностью, все остальное — сон... И вот уже он, маленький Дэви Цирдава, лежит на своей железной проржавленной кровати, закутавшись в ветхое одеяло. В комнате такая стужа, что от дыхания поднимаются облачки пара. Он не спит, чего-то ждет. Рядом с ним, на таких же железных кроватях, спят мальчики — примерно одного возраста с ним, за стеной — девочки. Спят все. Не спит только он, Дэви Цирдава, не спит и не сводит глаз с двери... С той стороны к двери почти неслышно подходит Дианоз Верулава, дядя Дианоз... Дэви не видит его, но знает, что это он. Вот он берется за ручку двери, сейчас приоткроет ее, заглянет в комнату, и их взгляды встретятся... В глазах Дианоза мелькнет улыбка.

Дверь и вправду скрипнула. Дэви не пошевелился. Только поднял веки и принялся молча наблюдать за мальчуганом, открывшим дверь. Тот почему-то повернулся спиной и так, пятясь, и вошел в комнату.

Было уже почти светло, но невыносимо холодно, и Дэви не хотелось вылезать из теплой постели.

Мальчик повернулся. На одной руке у него лежала вязанка дров, другой он придерживал дверь, чтобы не хлопнула. Осторожно ступая, мальчик подошел к печке. Лицо у него было напряженное, он смотрел прямо перед собой и не замечал удивленного взгляда Дэви.

Мальчик нагнулся и не бросил дрова, а ловко, хотя и с легким стуком, свалил их на пол. Открыл дверцу, выгреб золу, засунул в печку поленья, положил на них еще тлеющие уголья и принялся усердно дуть. Дело было нелегкое, и дуть ему пришлось довольно долго. Наконец вспыхнул слабый огонек. Мальчик пошевелил

поленья и закрыл дверцу. Только после всей этой процедуры он оглянулся и встретился взглядом с Дэви. Смутился. Отвернул лицо в сторону, отряхнул руки и выпрямился.

— Как тебя зовут? — спросил Дэви.

— Папучи, — пробормотал мальчик и неловко добавил, — Эдзгверадзе!

— Большое спасибо тебе, Папучи Эдзгверадзе, — улыбнулся Дэви.

Не ответив, мальчик выскользнул из комнаты.

«Видно, недоволен, что пришлось вставать из-за меня в такую рань!» — Дэви стало неприятно.

Он вскочил, подошел к печке и только там начал натягивать на себя одежду.

За стеной гомонили проснувшиеся ребята. Ночная няня ходила из комнаты в комнату и стучала палкой по железным кроватям, чтобы разбудить тех, кто никак не мог выбраться из сладких объятий сна. При этом она приговаривала:

— Просыпайтесь, сони, пора подниматься!

За окном вставал серый, пасмурный день. От ворот к дому шел мужчина. На голове у него была меховая шапка, воротник пальто поднят, руки засунуты в карманы. Дэви узнал Дианоза. Заторопился, аккуратно застелил постель.

Дианоз заглянул в дверь и, увидев, что гость уже на ногах, боком протиснулся в комнату. Он расстегнул пальто и молча протянул Дэви руку.

— Не узнаете, дядя Дианоз?

Постарел директор «Радости». На круглом лице заметно прибавилось морщин. Щеки и подбородок отвисли, хотя полным назвать его было нельзя. Следы былой красоты сохранились, но во всем облике чувствовалась безмерная, накопившаяся за долгие годы усталость.

Услышав вопрос Дэви, Дианоз внимательно взгляделся в него и покачал головой:

— Не узнаю, что ты будешь делать!

Дэви расстроился.

— Я Дэви, Цирдава, неужели не помните? Я ведь вырос на ваших глазах!

Дианоз Верулава, действительно, сильно переменялся. Что-то как будто потухло в нем. Почувствовав

обиду гостя, он постарался улыбнуться, но улыбка получилась вымученная:

— Вот теперь вспомнил! Надо же! Ну, что поделываешь, какими судьбами к нам?

Дэви с огорчением понял — притворяется старик, так и не узнал; окутанная туманом лет память ничего не подсказала, но не стал настаивать, «Ладно, разберемся...»

Запоздалая снежинка беспечно села мне на кончик носа. Я резко остановился. Так резко, что шедший позади Папучи Эдзгверадзе ткнулся мне в спину. Лицо у него было испуганное.

— Что случилось? — шепотом спросил он.

Я и сам не знал, что случилось, почему я встал как вкопанный. Может, чтобы рассмотреть усевшуюся мне на нос снежинку? Ведь она была последней. Снегопад прекратился. Снежинка была крохотной, с изящными ножками-кристалликами. Эти ножки, соприкоснувшись с моим носом, и растаяли раньше всего, а за ними последовала и сама снежинка, оставив после себя лишь каплю влаги. Чтобы разглядеть все это, мне пришлось до отказа скосить глаза... Или, может, потому, что передо мной расстилалась безбрежная, девственно нетронутая равнина, вся искрящаяся от снега в лучах солнца? За ней виднелась серая стена ольшаника, а еще дальше возвышалась угрюмая скала Верасула.

Я знал, что в одном месте, у подножия, скала имеет острый выступ, под ним, на площадке, окруженной зарослями ольхи и терновника, всегда сухо. В этом укрытии мне и назначил встречу Бычок. Что ему надо? Мне было немного не по себе. Может, это и заставило меня остановиться?

Я вдруг почувствовал, что кто-то тронул меня за локоть, будто подтолкнул — иди, не бойся! Это был не Папучи. Правда, он стоял позади меня, но руки держал в карманах. Щеки у него горели от мороза, и он, не отрываясь, смотрел в сторону леса, словно ждал отсюда внезапного нападения.

Папучи ворчливо спросил:

— Чего это ты ухмыляешься?

Думает, что я над ним, а я улыбаюсь собственным мыслям.

Вот рядом со мной становится Большой Никанор, такой высокий, что мы с Папучи едва достаем ему до колен. Правой рукой он заслоняет глаза от солнца, а левой касается моего локтя, подталкивает в сторону Верасулы — иди, не бойся!

Всегда, когда мне трудно, Большой Никанор оказывается рядом, подбадривает меня.

Мы двигаемся дальше. До колен проваливаемся в пушистый, легкий снег. Наши шаги отпечатываются в нем, словно глубокие раны.

Теперь я не боюсь ни капли. Рядом со мной — Большой Никанор, а сильнее и справедливее его нет никого на свете.

Наконец мы вступаем на лесную тропу. Собственно, тропы не видно, но ведь была же она когда-то, и мы идем, повинувшись чутью. Видно, остальные уже на месте — наверное, шли другой дорогой — и даже разожгли костер.

Я слышу запах гари. Папучи тоже втягивает носом воздух, задерживает дыхание и наконец изрекает: — Дымом пахнет!

У ручья мы наталкиваемся на следы — вот здесь они и прошли.

Вода в ручье течет неслышно, темной лентой выделяясь на белоснежном покрывале.

Дощатый мостик обледенел. Купаться в ледяной воде неохота, и мы осторожно, пробуя ногой опору, перебираемся на другой берег.

Над головой возвышается скала Верасула. С ее выступов свисают клочья снега. Я смотрю на скалу и соображаю, сколько же раз я пытался покорить ее. Теперь, переводя взгляд с одного снежного пятна на другое, я мысленно намечаю себе тропу, узкой лентой свисающую с утеса. Такое чувство, будто я уже ступаю по ней... Вот добрался до середины... Колени дрожат от напряжения. К действительности меня возвращает смех Папучи. Он стоит поодаль и тоже смотрит на скалу.

— Ты чего скалишься?

— Думаю. Если Большой Никанор обратится в камень, он будет точь-в-точь как эта скала!

Я вглядываюсь в скалу и на самом деле улавли-

ваю в ее очертаниях контуры человеческого тела. И впрямь Большой Никанор — стоит, вросши в землю, и смотрит куда-то вдаль...

— Чего это ты замолчал? — не унимается Папучи.

Вот пристал, не дает подумать. Я хватаю пригоршню снега и бросаю ему в лицо.

— На тебе!

Пока он отряхивается и вытирает лицо, я успеваю уйти довольно далеко. Запыхавшись, он догоняет меня. В руках у него снежок — жаждет мщения. Но тут мы подходим к подножию скалы, и Папучи забывает о своем намерении поквитаться со мной. В глазах у него страх. Папучи ищет опоры во мне, так же как я — в Большом Никаноре.

— Знаешь, там, наверху — пещера. Только ее отсюда не видно. А в пещере лежат неисчислимые сокровища! — не моргнув глазом фантазирую я.

— Врешь, небось? — Папучи смотрит на меня с сомнением.

— Чего мне врать? Мне показал их Большой Никанор. Огромные сундуки, а в них доверху золота и серебра.

— Чего ж ты не захватил с собой хоть немного?

— Нельзя. Сокровища заколдованы. Чтобы взять их, надо подняться на вершину самому, без чужой помощи!

— Ох, врешь ты все! — боится поверить Папучи. — Как же ты попал туда?

— Как, как! Я же говорю — Большой Никанор помог. Он ведь великан, взял меня на руки и посадил прямо на вершину.

Папучи колеблется — и верит и не верит... Я поворачиваюсь и иду дальше.

Вдруг в кустах послышалась какая-то возня, сверкнули два острых глаза. Сердце у меня начало колотиться, физиономия такая черномазая, что первая мысль — негр! Откуда бы ему тут взяться?! С трудом я узнаю Гугули Джикия. Не такой уж он и черный на самом деле, просто так показалось на светлом фоне. Гугули издает пронзительный свист. Оттуда, где вьется дымок, свистят в ответ. Гугули машет мне рукой — иди сюда! Пробираться через густые колючие заросли трудновато, я знаю, что где-то рядом есть тропин-

ка, но, поскольку встреча мне назначена тайно, приходится соблюдать правила, и я мужественно начинаю продираться вперед.

Наконец добираемся до костра. Под навесом сухо, снег сюда не попадает. Покрытая гравием площадка напоминает уютную, защищенную от морских штормов бухту. Вокруг костра восседают мальчишки, греют руки, подставляют языкам пламени лицо.

Они дружно поворачивают головы в мою сторону, молча рассматривают. Я тоже молчу, не размениваюсь на всякие там «здрасьте» или «привет». Гугули предусмотрительно становится у меня за спиной — теперь путь к отступлению отрезан. Страх у меня нет. Правда! Не убьют же, в конце концов! Я наклоняюсь к огню, чувствую на лице его горячее дыхание.

В середине, на вогнутом, как кресло, валуне восседает Бычок. По правую руку от него примостился Прыщ, но ему не сидится — то бросит быстрый взгляд на Бычка, то уставится на нас с Гугули — вертится как на жаровне. Слева от Бычка пристроились Губошлеп и Раззява. Раззява удобно разлегся на камне, протянул ноги к огню — от сырых ботинок валит пар. Губошлеп крепкой, суковатой палкой помешивает пекущуюся на углях картошку — и где только разжились? Украли, небось! Он весь поглощен своим занятием — как бы не обуглились драгоценные картофелины. Куцна Чедия стоит на ногах, испуганно хлопает своими пушистыми, как у девчонки, ресницами... Постепенно я начинаю узнавать и других, но взгляд мой прикован к Бычку — от его слова зависит моя судьба. «Уставились, как волки!» — мелькает у меня невеселое сравнение. Достаточно вожаку оскалить зубы, вмиг набросятся всей стаей! В холодных глазах Бычка полыхают языки пламени. Внезапно он спрашивает:

— О чем сейчас подумал?

Что ему ответить? Может, упомянуть Большого Никанора, выдать им очередную сказку? Но Бычок, будто угадав мои намерения, хмуро предупреждает:

— Только без вранья!

— По тропе бредут три волка, тупорылых, длиннохвостых — неожиданно для самого себя выдаю я.

Наступившая тишина прямо-таки оглушает. Не поняли, что ли? А может, Бычок как раз понял и теперь

размышляет, как отнестись к моему выпадку? Первым не выдерживает Прыщ.

— Ты что хочешь этим сказать? — Голос у него писклявый, противно слушать.

Ну что же, мосты сожжены, и я ни капельки об этом не жалею.

— А ничего! Чего вы уставились на меня, словно я серенький козлик, а вы серые волки?

— А ты что, не козлик?

— Я — сын Большого Никанора! — звучит гордо.

Кто знал меня, не мог не понять, о ком речь. Скорее всего, многие не верили в существование Большого Никанора, но до сих пор никто не высказывал этого вслух — хватит, дескать, плести небылицы. А кое-кто мне, пожалуй, даже завидовал. Ведь Большой Никанор не простой человек. Он и в сказке на месте так же как и в жизни. Сокрушает врагов, защищает обиженных....

Никто не издает ни звука. А может, раз я уж упомянул волков, выдать им историю о том, как Большого Никанора окружила целая волчья стая, штук пятьсот, не меньше, и как Никанор уложил их всех своей дубинкой?..

Но не успел я произнести и слова, как откуда-то со стороны вынырнул Чипо Квирикадзе. Протянув длинную руку над головой Губошлепа, он выхватил из углей крупную картофелину и, даже не дав ей остыть, слопал тут же на месте.

Прыщ, не стерпев, тоже потянулся за картофелиной — а то, не дай Бог, не достанется, но Бычок сурово осадил его — «Эй, ты, руки прочь!».

Все невольно отклонились назад, ожидающе вздрившись на Бычка. Как же, вожак стаи!

Бычок молча взял из рук Губошлепа палку, выкатил из углей несколько картофелин и раздал их мальчишкам, последние — Палучи и Прыщу. Потом взглянул на меня, вроде бы даже с удивлением — как это, мол, я просчитался.

— Тебе не хватило!

— А я и не хочу! — небрежным тоном ответил я. Обиды не было, ведь он не взял и себе.

— Иди сюда, садись! — Бычок показал мне на камень, где сидел Прыщ. Тот под его взглядом съежил-

ся и, продолжая перекачивать на ладонях горячую картофелину, подвинулся, уступая мне место.

Я сел. Было ясно, что бить меня уже не будут, но что задумал Бычок, оставалось тайной.

— Этого зачем притащил с собой? — Бычок повел головой в сторону Папучи. — Я его не звал!

— Да сам увязался, мал еще!

— Ну раз пришел, пусть остается, только чтобы держал язык за зубами, — говорил Бычок, не сводя глаз с Папучи.

Горячая картошка застряла у Папучи в горле, он жалобно глянул на меня, взывая о помощи.

— Так, значит, мы похожи на волков? — Бычок усмехнулся, но как-то так, что на лице его не дрогнул ни один мускул. Не люблю я такой смех — холодный, будто насильственный, не от души — не поймешь, то ли вправду смеется, то ли зубы скалит.

— А знаешь, мне нравится! Лучше не придумаешь! — Бычок наклонился ко мне и прошептал в ухо, чтобы не слышали другие: — Ты, видать, крепкий орешек, расколоть тебя не так-то просто. Я открою тебе тайну. Смотри только, не проговорись.

Я наострил уши. Люблю тайны. У меня и у самого их немало. Только держать их при себе я не умею. Дня не проходит, чтобы не проговорился. Но это ничего! Вместо одной тайны появляется другая. Сколько их связано с одним только Большим Никанором. А вот проговориться, что я назвался отцом маленькой Мари-хи, меня не заставит никакая сила.

— Так поклянись, что никому не расскажешь! — торжественно предложил мне Бычок.

— Чем поклясться?

Бычок палкой выкатил из догорающего костра уголек.

— Чем хочешь, тем и клянись. Но пока не кончишь клятву, должен продержат этот уголек в руке.

Свихнулся, ей-Богу! Да еще и смотрит на меня, как инквизитор. Что же делать? Что я ему, Арсен*, что ли?

* Арсен Одзелашвили — народный герой, живший в XIX веке. (Здесь и далее прим. переводчика).

Но выказать страх никак нельзя. Перекидывая с ладони на ладонь уголек, скороговоркой, глотая слова, я выпалил:

— Клянусь... именем Большого Никанора... Ух!.. Отбросив орудие пытки, я сунул руку прямо в снег. Ох, как горит, прямо сил нет терпеть!

Бычок снова засмеялся своим странным смехом, но глаза у него потеплели... Я вздохнул с облегчением — понравился! — и, что скрывать, это меня обрадовало.

Тут я столкнулся взглядом с Мамукой Гиоргадзе. Он сидел в сторонке и в разговор не вмешивался. К выделенной ему картофелине даже не притронулся. К ней-то и подбирался сейчас Чипо Квирикадзе, стараясь незаметно подкатить ее поближе к себе. Мамука не замечал этих стараний. В его обращенном на меня взгляде я прочел упрек.

Отвел глаза. Приготовился выслушать тайну. Вдруг Бычок схватил меня за ухо, привлек к себе. Больно, но я не подал вида. Нагнув мне голову, он выдохнул прямо в ухо:

— Мы здесь сколотили банду, вот!

Отпустил, но ухо продолжало гореть, больше, пожалуй, от услышанного. Я даже рот забыл закрыть от удивления. Но Бычок внезапно побагровел, стукнул себя кулаком по колену.

— Никанор прав!.. Не надо нам никакой банды! Будем серыми волками.., волчьей стаей!.. Вожаком должен быть самый сильный!.. Я научу вас выть по-волчьи...

Он поднес сложенные трубочкой руки ко рту и издал протяжный, действительно похожий на волчий вой крик.

У Прыща получился не вой, а скорее — тьяканье. А вот у Раззявы вышло ничего, и они с Бычком дружно завyli в два голоса. К ним присоединились и другие... Вроде бы смешно, но этот мальчишеский вой вызывал какое-то жуткое чувство.

Папучи Эдзгверадзе потянул меня за рукав... Рука у него дрожала.

Мамука Гиоргадзе встал и молча отошел подальше.

Бычок резко оборвал вой. Проводил Мамуку взглядом, но ничего не сказал...



Отец Мамуки Гиоргадзе еще совсем молодой, хотя на вид ему все сорок, а то и больше. В свое время он был, видно, мужчина хоть куда, но сейчас казался человеком конченным. Лицо желтое, одутловатое, под глазами мешки, а сами глаза тоже желтые, даже зрачки. Наверное, почки больные, а может, печень, кто его разберет. Все ночи напролет он кашлял лающим надрывным кашлем — и сам не спал и другим не давал. Никто не знал точно, когда это произойдет, но временами у него начиналось вроде помутнения разума. Впрочем, может и напускал на себя. Он постоянно глотал какие-то таблетки, все руки у него были исколоты иглой. Он делал себе уколы сам — зажмурит глаза, напряжнется весь и ткнет иглу, как будто не в собственное тело, а в чье-то чужое. Другой давно бы уже подцепил какую-нибудь инфекцию, а этому хоть бы что — везучий был, коли это можно назвать везением.

Руки у него постоянно дрожали...

Таким Мамука и запомнил отца. Сидит отец на своей постели в трусах и в майке, глаза бессмысленно уставлены в пространство, а руки так трясутся, что в зажатой в руке коробке тарахтят спички. Потом вдруг — как будто подступило что изнутри — открывает рот, хочет зевнуть, а зевок не получается, звук не выходит из гортани, тогда он сомнет коробок в кулаке, спички посыплются на голые ноги. В глазах появится бешенство, он выдавит из себя хриплый, угрожающий смешок, обращенный к одному ему видимому врагу.

А Мамука уже — по стеночке, по стеночке — у дверей, теперь не страшно, можно бежать, но он выжидает. Может, пронесет. Иногда бывает и так. Отец как-то вдруг успокоится, затихнет и вскоре уже спит мертвым сном.

Но нет. Отец вдруг издает пронзительный вопль. Вскакивает и начинает метаться по комнате. Натыкается на шкаф, стол, стулья. Проскакивает, не заметив, мимо сына. Налетает на стол и в бешенстве опрокидывает его. Со страшным грохотом падает сам. Мамука делает шаг к нему, хочет помочь, но отец вдруг легко вскакивает на ноги и бьет кулаком в зеркало на стене

— осколки брызгают во все стороны. Рука у него в крови...

Теперь его уже не остановить, будет крушить все, что подвернется... Мамука открывает дверь и оказывается на темной лестнице. Сердце у него колотится от страха, такое чувство, будто на площадке лестницы затаились собутыльники отца, такие же безумные, и тянут к нему свои дрожащие, но цепкие руки. В подъезде под самым потолком тускло светится одна-единственная лампочка.

На улице страх понемногу отпускает, хотя Мамуку все еще колотит. Он долго мучается у телефона, никак не может толком объяснить дежурной, в чем дело. «Папе плохо, папе плохо!» — тупо повторяет он и не в силах сказать что-либо еще — раздражается слезами. Дежурная, видно, входит в его положение, голос у нее смягчается. «Жди у подъезда, сейчас будем!» — говорит она.

Из квартиры раздается вой и грохот ломающейся мебели. В соседних окнах зажигается свет. Люди выглядывают из них. Никто не спрашивает, в чем дело. Все давно уже привыкли.

У подъезда стоит машина скорой помощи. Шофер дремлет, опустив голову на руль.

Но вот шум прекращается, наступает тишина. Соседи отходят от окон, свет в квартирах постепенно гаснет.

Мамука медленно, еле волоча ноги, поднимается по лестнице.

Вдруг сверху раздаются шаги. Он чуть не пускается бежать обратно, но догадывается, что это врачи, и дожидается на единственной освещенной площадке.

— Отец? — спрашивает тот, что идет впереди.

Мамука кивает головой.

— Не бойся, он заснул, — и сочувственно вздыхает.

Другие проходят молча.

Мамука быстро преодолевает оставшиеся ступени. В комнате все перевернуто вверх дном. К этому он уже привык. После каждого такого приступа долго приводит квартиру в порядок. Отец лежит на кровати, вытянувшись во всю длину. Не шелохнется — как мерт-

вый. Нос заострился, щеки впали, под глазами черные круги. Мамука никогда раньше не видел мертвых, и теперь у него мелькает мысль, что отец умер, и его снова начинает бить дрожь. Но вглядевшись, он видит, что грудь отца еле заметно поднимается и опускается. Это немного успокаивает его.

Он принимается за уборку. Ставит на место стол, стулья, собирает в совок осколки зеркала.

Потом пододвигает к кровати стул и усаживается на него.

До рассвета еще далеко.

Мамука рассматривает изменившееся лицо отца. Когда-то он был совсем другим...

Продолжение следует

Перевод Нелли СОЛОД



Старый район

Чуть ясней, чем на иконе,
Чуть сочнее, чем в куплете,
Тот орнамент на балконе, —
Как лоза при ярком свете.

Склон, поросший муравою,
Гроздья окон на закате...
Где-то скрылся с головою
Древний крошка Анчисхати.

До чего узки проулки —
Как рождественские свечки...
Клики детства — звонки, гулки.
Ах, на детство нет уздечки!

Ты посмотришь — тихо, немо, —
Так вот брат глядит на брата.
Верю: старческую немощь
Оттолкну, как ты когда-то.

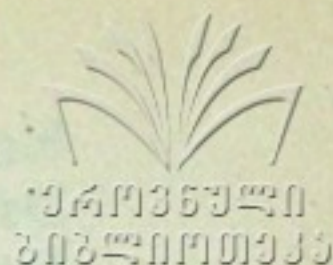
Цветок без имени

Так от грез изнемог я к рассвету,
Что меня не узнать — какво?
Я цветок, а вот имени нету,
Почему ты не дашь мне его?

Брошен. Слаб. Ветерок осиянный
Чуть колышет меня, как мираж.
Я цветок, но цветок — безымянный,
Почему ты мне имя не дашь?

Я — тобою не виданный сроду,
Но совсем не случайный в судьбе.
Ты же, видя меня, ищешь розу —
Неужели не стыдно тебе?

Сквозь росу предрассветную эту
Я гляжу, опьянев от любви...
Я цветок, а вот имени нету.
Назови же меня, назови!..



Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА

Правда

Правде надобно много и мало,
Как актеру на первых ролях:
Только вера притихшего зала
Позволяет ходить в королях.

Под Улисса, а завтра под Ксеркса —
Гримируют тебя день за днем.
Что ж, артиста поздравим от сердца,
Коль со сцены уйдет королем!

Правду надо хранить и лелеять...

Весна

Какие снега заметелили!
Март. Двадцать третье.
Немыслимо ждать —
И безумие стало законом.
Чему удивляться,
Когда на весеннем рассвете
И сердце взорвется вот-вот
Алычовым бутонем!

Предутренний холод:
Душа отлетает покорно.
Цветы осыпают
Росу запоздалую с веток.
Но — страсти внезапность!
Ее не дождаться повторно.
...И, может быть, скажут:
«Весны он хотел напоследок».

* * *

Смуглолицая девчонка-айсорка,
Ты — желанна (вижу взгляды ревнивца),

Но морочишь ты меня: сколько длиться
Этим играм? До какого же срока?!
Брови — черные собачки. Ресницы
В нежных шупальцах. Заманишь — и деру!
Появляешься в полдневную пору,
Чтобы в этом же обличьи присниться
В те часы, когда над городом зорко
Ходит месяц народившийся, ранний.
...Но любого сновиденья желанней
Смутлолица девчонка-айсорка.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

Путь

Стала цель намного дальше
Или все прошло?
Пусть всегда без тени фальши
Жжет меня, как жгло

Солнце жаркое Тбилиси
И Мтацминды склон,
Смех твой, смех, летящий в выси,
Локонов полон.

А иначе — рухнут ставни
И потоки снежной рвани
Море поглотят,
И к могиле погорланить
Чайки прилетят...

Пролеска

«Пролеска — название рано цветущих видов растений».

Как сухо говорит словарь!

Вот как со мной обошлась:
Вывела под снегопад,
Поздним снежком обожглась
И улизнула назад...
Скоро ли, скоро ль апрель?
Не отвечает метель.

Что уж там, перетерплю
Сильный кочующий снег,
Март наш, под стать февралю,
Не устоится вовек.
А уж пора бы, пора
Листьям под ветром шуметь,
Не умолкать до утра
И на заре пламенеть.
Вот и тутовник набух,
Корни подставил граблям
И заклинает вослух:
«Вверимся отчим полям!»
Синим обильным огнем,
Бьющим, как свет изнутри,
Высыпав на глинозем,
Вспыхнет пролеска — смотри! —
И улыбнется в ответ,
Ведом как будто бы ей
Неизъяснимый секрет
Вешних лесов и полей.

Перевод Сергея НАДЕЕВА

Пора сбора плодов

Успокоенье подсластит
кислицу строк,
когда раздвинутся пласты
фиалкой в срок.

Неразличимы шепотки
отдельных роз...
По-майски певные мазки
вмещает мозг!

Птенец вдыхает облака,
летит орлом.
Коси коса, черпни рука
июль живьем.

Я жил иначе, если б знал,
что ждет меня
стихотворений крутизна
на склоне дня.



Глухими звуками в ночи
печаль плодов.
Душа — очаг, душой лечи
телесный кров.

Мечта бежит от тех, в ком страх,
кто мыслью слаб,
кто тлеет угольком костра
в пыли угла.
Судьбою проседей в волосах...
Покуда жив,
зимы замерзшая роса
не для души.

* * *

Лисьей шкурке под стать
шелковистость принцесс.
Неотлучен с поста
паж в стеклянном венце.

Ядовитость в крови
родовитых персон;
Верной служкой лови
на лету колкий тон.

Честь улыбке любой
успевай отдавать...
Как нежна под стопой
молодая трава!

Посмотри — тот плешив,
Этот — принц в парике.
Тускло в русле души,
словно в мутной реке.

На ланитах инфант
позолотою быть...
О налившийся стан,
дивноногой судьбы!

Хороню, как могу,
косоглазие лжи...
Ситцем выцветшим — грудь,
глянцем — лист дорожит!

Фальшью взбиты шелка
у дворцовых мадонн...
Ту, чья поступь легка,
присмотрел Купидон...

Во дворце, нелюбим,
отчужденно милуй,
О лачуге скорби,
хорони поцелуй!

О загробных пирах
Елисейских полей
Мне напомнил вчера
этот пух с тополей.

Перевод Ольги БЕЛОУСОВОЙ

Афон

Понурилась липа, как птаха.
Лоза помертвела к закату.
Седое дыхание страха
прошло по алтарному злату.
Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
молитвенный выклик амвона:

«Избавь нас, творец, от напасти
и сжался над отчей страной!
Пресветлого солнца не засти,
облей благодатью земною!
Да скажется в душах отвага,
да грянут июльские грозы,
сердец да умножится благо,
скорбей да скончаются слезы!
Даруй нам на древнем кургане
врага обесславить в шаири!
Суди нам победу на брани!
Суди нам согласия в мире!

Для пахаря—статя двужильной,
для дола — лозы изобильной,
для путника — ноши посильной,

для изверга — ямы могильной,
для отрока — чести фамильной,
для матери — силы родильной,
отрадной тропы для порога
испросим у Господа Бога!»

Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
грузинская треба с амвона.

Последняя улыбка

В Италии обнаружен саркофаг, в котором лежала девочка лет десяти. Она не выдержала повторной встречи с дневным светом и воздухом и рассыпалась.

Из лютой бездны двух тысячелетий
себя ты вновь явила бытию.
Вскричал Анд. Промчался черный ветер.
И хлынул свет на тунику твою.

Когда отъяли каменную крышу
и разомкнули медное кольцо,
гляделась вечность в розовую нишу,
и улыбалось дивное лицо.
Рождая образ, легкий и мгновенный,
была улыбка девственно чиста,
как если бы Пракситель вдохновенный
ее вложил в безмолвные уста.

Но в тот же миг, подобно эфемере,
опала плоть и обратилась в прах.
Так бабочка выпархивает в двери
на мертвых упокоиться цветах...
Затем ли ночь немыслимого срока
тебя на берег вынесла волной,
чтоб в мановенье морока и ока
опять сокрыть под хохот ледяной?
Иль ты сказать заветное хотела,



но губ разжать на утре не смогла?
Иль рано душу выкрала у тела,
что от скорбей былых изнемогла?
Иль в доброту уверовала нашу
и тайный свет затеплила в крови?
Но, как и встарь, взыскующую чашу
оставил мир без солнца и любви.
И ты свои младенческие весны
опять по пальцам смуглым перечла.
И тронул мрак, торжественный и косный,
улыбку дня, сгоревшую дотла.
Вне вышних сил и дольного соблазна
ты навсегда рассвета лишена.
Так для чего жестоко и заглазно
твоя судьба исчерпана до дна?
Что я могу? Не дадено мне веки
поднять тысячелетия спустя.
Прости меня и ныне и во веки,
что я не смог спасти тебя, дитя!

Клубится мгла. Смыкается гранит.
И хохот бездны душу леденит.

Перевод Сергея БОРИСОВА



Два рассказа

Смерть инженера Кветерели

Памяти Генриха Кобидзе, рассказавшего об этом случае

Внимательно осмотрев больного, врач некоторое время размышлял, потом встал и отрывисто бросил заглядывающему ему в глаза ассистенту.

— Минаго, готовьте операционную! — Потом вновь склонился над пациентом. — Батоно Нугзар, какого характера боль вы ощущаете: тупую или острую?..

Несколько минут назад этого человека привезли в клинику с пулевыми ранениями в живот. Раненый буквально плавал в поту. С трудом повернул он голову и просительно глянул на медсестру:

— Руки отказываются повиноваться, утрите мне, пожалуйста, пот. — Потом ответил врачу: — Иногда тупая... а иногда так режет внутри... хоть кричи... Два раза словно что-то толкнуло меня... две пули схватил... я думаю.

— Одна мимо прошла, — уверенно ответил врач да так, что только медсестра поняла, что сказал он неправду. — По результатам осмотра — повреждена лишь тонкая кишка. В последнее время таких случаев стало больше, так что, к сожалению, практика у нас в таких операциях большая. Не надо волноваться, все будет хорошо... Ну, мне надо идти готовиться к операции.

Медсестра сняла со спинки стула полотенце и стала утирать раненому пот такими осторожными движе-

ниями, словно ласкала его. Едва успела она утереть лицо, как оно вновь покрылось крупными каплями пота.

— Под наркозом или местной анестезией? — облизнув губы, едва слышно спросил раненый.

— Лучше под общим. Операция сложная, так что местной анестезией не обойтись. Да и вам спокойнее. Пить не хотите?

Раненый дрожащей рукой провел по потному лбу и с мольбой устремил взгляд на хирурга:

— Умираю от жажды, но врач сказал — пить ни в коем случае нельзя...

— Много он понимает в хирургии! Пейте, батона Нугзар, столько, сколько душа пожелает. Принесите из холодильника, — кивнул врач медсестре и бросил взгляд на часы. — Через двадцать минут повезем вас на операцию. — Он решительными шагами направился к выходу, но, дойдя до двери, словно внезапно вспомнив, спросил: — Кстати, не сообщить ли вашим родным? Любая операция — даже на слепой кишке — достаточно сложна... Да и вам будет спокойнее. Почему-то запрещено заботиться о больных сестрам милосердия, монашкам, которые выполняют обет милосердия. А по ночам больной вообще остается один!.. Я же, напротив, разрешил бы даже родственникам дежурить у постели оперированных. В Соединенных Штатах Америки, оказывается, именно так и поставлено дело. А мы вроде как умнее всех!.. У вас, наверняка, жена, дети...

— Да, — вымученно улыбнулся раненый, — двое детей, обе — девочки... одной шесть, другой — пять лет... А что? Обязательно надо сообщить? Может, после операции.

— Пусть будет так. После операции сообщим. Меньше волнений...

Только он собрался выйти, как открылась дверь и в палату вошла медсестра с запотевшим графином в руке. Все лицо раненого превратилось в одни глаза, но медсестра не обратила на него никакого внимания.

— Привезли юношу, — обратилась она к врачу. — Весь ломаный-переломанный, без сознания — машина его сбила. Все палаты переполнены... Может, положим его сюда?

— Найдите ему место в другой палате.

— Я же говорю, батано Дачи, палаты переполнены!

— По поводу батони Нугзара есть строгое распоряжение, — твердо ответил врач и взглянул в сторону раненого. — Здесь находится его друг, батони Нико, а он — член правительства!.. Найдите место в другой палате.

— Если батони Нико здесь... пусть войдет на минутку, — произнес больной, не отрывая взгляда от графина.

— К сожалению, он ушел, — вновь покривил душой хирург. — Как только узнал, что ничего угрожающего вашей жизни нет, сразу и уехал. Дела...

Едва хирург вышел из палаты в ординаторскую, Нико, сидевший там, тотчас же вскочил с места.

— Как дела?

— Плохи, очень плохи! — бессмысленным взором глядя в окно, ответил хирург. — Две пули схватил, положение критическое. Уже началось заражение крови. Боюсь, до одиннадцати ночи не дотянет!..

— Только бы он не погиб!.. Только бы он не погиб!.. — Нико, которого никто никогда не видел обеспокоенным, обеими руками схватился за голову. — Что же будет, как я перенесу его гибель...

— Что же эти бандиты посреди города затеяли стрельбу! Да к тому же на рынке!.. — хирург в сердцах хлопнул ладонями по коленям. — Мало нам аварий, хулиганов, подонков, поножовщины!.. Теперь и милиция! Кто лучше меня знает, что творится в городе! Как будто смерть не справляется со своим черным делом, так мы сами идем друг на друга с доносами, огнестрельным оружием, с ножами и кастетами, сплетнями, анонимками!.. Увижу на улице какого-нибудь красивого парня, лицо надолго в память врежется! После невольно вспоминаю, взглядом в толпе ищу, но как назло не встречается больше... Проходит время, провожаю кого-нибудь из своих близких или друзей в последний путь, и вдруг с фотографии на могильной плите смотрит на меня этот парнишка!

— ...Как я устал от этих несчастий, наступающих нашу молодежь!.. Не могу поверить, что из ста шансов нет хотя бы одного на спасение!

— К сожалению, ничего уже не поможет...



— Если нужны лекарства — любые! — я достану. Хоть на черном рынке, хоть где!..

Врач горестно покачал головой:

— И все же я иду на операцию. Не потому, что сомневаюсь в своем диагнозе, нет!.. Хочу облегчить его страдания... ну, как бы это объяснить... облегчить его последние минуты прощания с миром. Обманываю его, да. Но не могу допустить, что у него не будет надежды на спасение. Другой помощи я оказать ему не в силах... Поверьте, здесь я бессилен!

Нико, шатаясь, опустился на стул.

— Ни на шаг не отступил бы, если бы мог спасти ему жизнь. Это я погубил его...

— Даже если бы одна пуля в нем сидела, и тогда трудно было бы его спасти, но была бы хоть надежда!.. А ведь он получил две, и обе в живот, и расстояние между ними всего несколько сантиметров... За час я услышал с десятков версий его ранения... Эта страсть к раздуванию слухов доконает меня! Как же все-таки это случилось?..

— Батоно Дачи, операционная готова. — Бесшумно возникла на пороге медсестра.

— Везите раненого, готовьте наркоз, — ответил хирург, бросив взгляд на закрывающуюся дверь. — Батоно Нико, вы подождете здесь или домой поедете?

— Дождусь конца операции, — не поднимая головы, ответил тот.

— Я уже объяснил, почему иду на операцию, — тактично напомнил хирург, прекрасно понимая, что никакие доводы сейчас не подействуют. — Если это можно назвать операцией...

— Не лишайте меня надежды!..

Хирург поспешно вышел из комнаты.

...По поводу ранения Нугзара Кветерели в городе ходили всевозможные слухи. Но батони Нико точно знал обо всем, что случилось на улице, ведущей к рынку. Его двоюродная сестра, старая дева, живущая неподалеку, видела все из окна. Она-то, хорошо знавшая Нугзара, и рассказала всю историю по телефону своему двоюродному брату. Она же вызвала и «скорую» помощь.

Став взрослым, Нугзар Кветерели, деревенский парнишка, не мог вспомнить, почему ему с детства хо-




телось стать инженером-проектировщиком мостов и туннелей. Закончив среднюю школу, три раза подряд сдавал экзамены в политехнический. И все три раза не добирал по одному баллу, почему, естественно, и оставался за дверьми института. Наконец решил учиться в Москве. Привыкнув надеяться лишь на себя самого, он учился лучше других студентов и закончил институт с отличием. Что ни говори, а профессура везде ценит крепкие знания и добросовестность. Потому Нугзару предложили остаться в аспирантуре. Кветерели отказался. Не могу, сказал, продолжать жить на стипендию и быть на содержании у отца-пенсионера. Поработаю, а там видно будет. Аспирантура от меня никуда не убежит. И тогда институт дал ему направление в Московский метрополитен. Говорят, что в Москве родственные связи, вроде, значения не имеют. Так или иначе, благодаря своему уму и профессиональным знаниям, он быстро продвигался по служебной лестнице.

Как-то на одном из всесоюзных совещаний, которых в застойное время было хоть пруд пруди, встретился он с батони Нико, с которым был немного знаком. Он-то и предложил Нугзару подумать, наконец, о переезде в Грузию. Батони Нико развернул перед ним радужную картину: месяца три, мол, поработаете старшим инженером, потом станете главным, а там, через два года я выхожу на пенсию, и вы займете мое место. С республиканским руководством на этот счет разговор был, против они ничего не имеют: квартиру, мол, дадим сразу же по приезде...

Кветерели даже не колебался: во-первых, батони Нико, руководитель крупного строительства, пользовался широкой известностью и слыл хозяином своего слова; во-вторых, его дети вот-вот должны были пойти в школу, и Нугзар беспокоился, что в Москве дети могут основательно подзабыть родной язык, хотя брат жены и предлагал отдать детей в его семью, чтобы они учились в Тбилиси. Но какой отец согласится, чтобы дети жили вдали от родителей. Ну и к тому же, родители его были уже в довольно преклонном возрасте, желание видеть их чаще, заботиться о них заставляло принять предложение батони Нико.

Москвичи тоже не хотели отпускать его — как-никак опытный работник, хороший руководитель, с широ-



ким профессиональным кругозором. Дескать, надумаете снова к нам, с радостью вновь вручим ключи от бывшего кабинета. Но Кветерели принял решение...

Квартиру ему в Тбилиси, действительно, дали хорошую. Кстати сказать, гораздо лучше той, которую он имел в Москве. Да еще и в престижном квартале. Дети и жена нарадоваться не могли. А уж родители его, да и вся родня — тем более. Ведь наконец-то вернулся домой из чужих краев, не стал дожидаться пенсии, как многие делают...

Как и было обговорено, спустя три месяца перед ним должны были раскрыться двери кабинета главного инженера. Однако прошел год, и второй был на исходе, а батони Нико слова своего не сдержал. Правда, это было не в его силах — главный инженер, отупевший от старости человек, приходился дядей некоему крупному чиновнику. Этому чиновнику как-то подкинули идею о том, что, мол, пора бы вашему дяде и на покой, на что получили четкую и жесткую инструкцию: дайте, мол, человеку спокойно умереть. С тех пор главный инженер только и делал, что повторял эту фразу. Не так уж, мол, много мне на этом свете жить осталось, дайте умереть спокойно. А от чего бы ему, интересно, умирать: курить не курил, вина не пил, на работу являлся довольно поздно, домой уходил вскоре после обеденного перерыва, а в промежутках между этими моментами просто ничего не делал. Да и как он мог делать что-либо?! Ведь был он партийным функционером старого разлива, из тех, кого перебрасывали с одного номенклатурного места на другое, которые жили по принципу: куда партия направит, там и будем служить верой и правдой. И единственное, что умел, это произносить длинные пустые и пышные речи. Особенно любил он лозунги тридцатых годов.

По неписаным законам застойных времен за таких деятелей работают их заместители. Когда же Кветерели назначили его заместителем, главный совсем воспрял духом, даже плечи расправил. Вызывают к руководству, он берет доклад, подготовленный Кветерели, и с достоинством выступает «наверху» с отчетом: то-то и то-то, мол, за отчетный период внедрил, так-то и так поступил, столько-то государственных средств

сэкономил. У нас ведь особенно отмечают за то, что о государственных средствах печешься!

Ни одного торжественного заседания главный не пропускал — выходил на трибуну, выдвигал пару злободневных лозунгов, вроде того, что «Экономика должна быть экономной!» или «Прибавь в работе, товарищ!». А чего прибавить? Хитрости, добросовестности? Или, может, брака?! Но кто бы посмел задать ему подобный вопрос? Все в зале знали, чей он дядя!

Нугзар Кветерели переносил все это довольно спокойно. Хотя мог бы и возмутиться: я, мол, работаю, ночей не сплю, потом еще и доклады сочиняю, а он — лавры пожинает! Знал, что такое практикуется в нашей жизни и до сих пор. Привычно тянул ляжку. Да и сотрудники к этому привыкли. Если надо было решить вопрос из компетенции главного, шли к Нугзару. К «дяде» заходили лишь затем, чтоб бумагу подписал.

Тут уж «дядя» был на высоте! Никогда не подписывал сразу.

— Оставьте... Изучу вопрос, взвешу... Завтра заходите...

Метод известный. И хотя все знали, что ни над чем он думать не будет и взвешивать не станет — да и не сможет! — молча соглашались зайти завтра.

Батони Нико стыдился встреч с Нугзаром и потому всячески избегал их. Случайно столкнувшись с ним где-либо, прямо-таки обливался холодным потом. Видя его состояние, Кветерели тоже старался избегать встреч, чтобы не ставить батони Нико в неловкое положение...

В тот майский день, как обычно закончился рабочий день. Кветерели вышел на улицу и пешком направился к Солдатскому рынку купить клубники и ранней черешни — утром обещал детям.

Рынок был в каких-нибудь двухстах метрах. Мысленно, преодолевая этот путь, он находился в своем селении, вспоминал старый домишко, постаревших отца и мать. Звук выстрела отвлек его от приятных воспоминаний. Стреляли из пистолета.

Вслед за выстрелом слышались крики, визг женщин, вопли. Люди разбежались в разные стороны: кто спрятался в ближайший подъезд, кто вбежал во двор, бросались в двери учреждений и магазинов. Мужчины и те кинулись врассыпную.

Из переулка выбежал мужчина с корзиной в руках. Он оглянулся на бегу, растерянно крикнул:

— Что вам от меня надо, ребята?

Крикнул, бросил корзину и побежал навстречу Кветерели. За ним бежали двое с пистолетами в руках и продолжали стрелять. Похоже, это были переодетые сотрудники милиции.

Кветерели остановился, изумленно наблюдая за этой сценой. Что же это за преступник такой, что непременно надо здесь, на переполненной людьми улице, никого не щадя, поливать его огнем?! В этот момент мимо Нугзара, озираясь, прошел мальчишка лет десяти — прямо навстречу бегущим. Снова над головой просвистели пули. Кветерели, не раздумывая, сорвался с места и бросился вперед, догоняя мальчишку. Он уже догнал его, схватил за руку, ища глазами, куда бы спрятаться от стрельбы. Тогда-то и ощутил он два сильных толчка, будто чей-то железный кулак больно ткнул его два раза в живот...

О причине же этого происшествия рассказывал четырнадцатилетний сын больничного сторожа, работавшего в той больнице, куда привезли к вечеру Кветерели. Мальчик ехал в троллейбусе, подошли контролеры и потребовали, чтоб он взял билет.

— А что? — дерзко ответил он, — у меня полный карман денег, а я не беру билет?

— Тогда скажи-ка нам свою фамилию, имя, отчество — квитанцию на дом пришлем.

— Неграмотный я, — не унимался парнишка. — Уже неделя, как и дорогу в школу забыл!

— Ну, тогда пошли-ка с нами в отделение, там тебе быстро память восстановят! — И затащили его в отделение милиции.

— Дежурному майору было лет под шестьдесят, — рассказывал мальчишка. — Доложили ему контролеры, зачем меня привели, да и ушли. А он глянул на меня сверху вниз и приказал сержанту:

— Что-то мне в нем не нравится. Обыщи-ка его.

Обдало его жаром, но что поделаешь! Перочинный нож, новенький и красивый, вытащил сержант из его кармана.

— Ну что, попался? — обрадовался майор.

— Недавно нашел я его, — оправдывался парнишка. — Собирался сдать в милицию, товарищ майор!

— Нашел, говоришь? — призадумался майор.

— А что? Если сынки секретарей райкомов, прокуроров там разных, министров и другого начальства в кустах парков и скверов пистолеты находят, так мне, сыну сторожа, нельзя какой-то ножичек найти?

— Смотри-ка на этого сопляка, не успел родиться, а уже столько знает! — Майор приготовился писать. — Вот упеку я тебя сейчас в колонию для несовершеннолетних, там тебя научат уважать старших!..

В это время с улицы донеслись звуки выстрелов. Майор насторожился.

— Похоже, мои ребята захватили преступника.

— И по звездочке себе на погоны заработали, — с явной завистью произнес дежурный сержант.

Майор вновь прислушался к происходящему на улице. Снова донеслись выстрелы.

— Кажется, взяли.

— Молодцы!

— Я тоже так думаю, — согласился дежурный.

И в этот миг какой-то мужчина лет тридцати ворвался в дежурку, едва не снеся двери с петель:

— Спасите, убивают!

Лицо его было землистого цвета, от страха его билась легкая дрожь. Он захлопнул дверь и привалился к ней спиной.

— Что случилось? — вскочил с места майор. — Что ты ломаешь тут дверь!

— Как что? Убивают!

— Успокойся. Сейчас разберемся. Где убийца?

— За мной гонятся! — Мужчина глазами искал, куда бы ему спрятаться. — Архитектор я, люди! У меня своих забот по уши, а тут — убивают!

Дверь распахнулась и в помещение влетели двое молодых людей с пистолетами в руках. Архитектор мгновенно спрятался за спину сержанта. Увидев притаившегося беглеца, двое преследователей взглянули друг на друга.

— Что произошло? — спросил майор, поигрывая авторучкой.

— Товарищ майор, мы приняли этого человека за

преступника, который в розыске, — ответил один из преследователей.

Майор, помедлив, вынул из ящика стола фотографию и молча протянул ее одному из своих сотрудников.

— Сукины вы дети! Этот — блондин, а тот — черный как жук! Неужто вы так ослепли, что блондина от черноволосого не смогли отличить?! А вообще-то, — майор понизил голос и многозначительно посмотрел в глаза архитектору, — не был бы ты блондином, так точная копия разыскиваемого преступника.

— А что, если волосы крашеные? — недоверчиво и все еще не теряя надежды, спросил один из преследователей, пряча оружие во внутренний карман пиджака.

— Так ведь у того нос приплюснут! — Майор прислушался. — Что за переполох на улице?

Преследователи потупились.

— Кажется... когда в этого, — кивнул один из них на архитектора, — стреляли... какого-то прохожего задела.

— Задела! — насмешливо произнес майор. — На тренировках по стрельбе — отличники! А здесь задела... — Он повернулся к побледневшему архитектору. — Ты свободен — иди!.. Возьмись за ум... да будь впредь поосмотрительнее...

Им уже было не до мальчишки, а он воспользовался случаем и потихоньку выскользнул из отделения. Ах, какой нож потерял, дурак! Вышел на улицу, огляделся по сторонам — на противоположном тротуаре, скрючившись, сидит какой-то человек. Люди окружили его. А архитектор спешно уходил прочь, шел прямо посреди улицы — чуть под машину не попал.

Оперативники оправдывались перед майором за то, что открыли стрельбу по случайному прохожему. Мы, мол, спутали его с опасным рецидивистом, бежавшим из тюрьмы убийцей. Ведь было приказано стрелять без промедления. Так сказать, во имя задержания...

А что при этом «задержании» был смертельно ранен ни в чем неповинный человек, так это, вроде того, что «лес рубят — щепки летят»...

Операция длилась всего двадцать минут. Вскрыв брюшную полость, убедились в том, что Кветерели ни-

чем помочь уже нельзя, на том дело и кончилось. Тщательных швов не накладывали: это уже значения не имело. Два часа спустя раненый пришел в себя, после наркоза и попросил позвать врача.

Хирург, отдышавший после операции, сидел в своем кабинете, беседуя с Нико:

— На кой черт надо было мне идти в хирурги, если не могу спасти тех, кого действительно надо спасти?! А терапия — это вообще ворожба.

— Может, в самом деле все зависит от судьбы: что написано человеку на роду, того не избежать? — вздохнул Нико.

— Между прочим, я пришел к такому заключению лет сорок назад, — затянувшись сигаретой, произнес хирург. — Как-то, еще в студенческие годы, остановила меня цыганка: дай, мол, рубль, погадаю, всю правду скажу. Катись ты, говорю, со своей правдой! Раз уж ты бранишься, она мне, так не надо денег — за так все тебе поведаю. Я ее еще дальше посылаю. Ладно, ладно, успокаивает, только запомни, что в течение этих трех дней попадешь ты в беду. В самом деле: через три дня меня арестовали, так сказать, по подозрению. Время такое было... Попал я таки в беду, как и нагадала цыганка! Ну, восемь дней таскали меня туда-сюда, прежде чем выяснилось, что обвинение ложное... С тех пор боюсь я гадалок, но смело иду в церковь. Вы, батона Нико, человек известный в республике, партийный, возможно, при вас этого не следовало бы говорить, но я сейчас не могу скрывать правду — и свечку ставлю, и крестным знаменем себя часто осеняю, и молитву возношу. Богородице, святому Георгию! Матерь Божья, дева Мария, святой Георгий! Обратите ко мне свои благосклонные взоры, отпустите грехи мои тяжкие!.. Страждущие больные с надеждой смотрят на меня, я же не всегда могу дать им то, чего они ждут. Бессилие хирургии, несовершенство медицины кажется мне моим грехом.

— Ни за что не прощу себе смерть Кветерели! — печально произнес Нико. — Я погубил его! Так кого же мне просить об искуплении греха?! Мне, человеку неверующему...

Дежурный врач заглянула в кабинет:

— Батона Дачи, больной вас просит.

Хирург молча встал и направился за нею.

Старый врач придвинул стул к постели Кветерели:

— Слушаю, батано Нугзар!

— Прежде чем я уйду, хочу сказать несколько слов.

Дежурный врач тихонько вышла, притворив за собой дверь.

— Бессмысленная смерть, — произнес Кветерели.

— Просто бездарно так умирать.

— Почему-то все больные впадают в уныние после операции. Это обычное явление.

— Когда вы сказали о воде — пей сколько хочешь! — я понял, что минуты мои сочтены.

Хирург растерялся.

— Знаете, медицина так сложна... Бывают ведь и исключения...

— Не ищите оправданий, мне теперь все равно...

Он умолк, собираясь с силами.

— Интересно, где сейчас тот мальчик, ради которого я попал в такое вот... положение?..

— Мальчика мы найдем. Но все же самое главное, что вы спасли юную жизнь...

— Нет! Главное в том, что чужого ребенка спас, своих же детей погубил. Задумайтесь над тем, что значит такая вот самоотверженность! Не есть ли это отрицание... собственной жизни? Там ведь... рядом подъезд был... Всего на метр... на один-единственный метр... надо было отпрыгнуть в сторону... и я был бы спасен... Знал бы, что погибну, — ни за что не бросился бы спасать чужого ребенка... А так ведь... чужого спас — своих же погубил... О звериных инстинктах мы много рассуждаем... и пишем. То, что я сделал... тоже инстинкт. Иначе, если бы мог предвидеть итог... ни за что не совершил бы такого... преступления... Перед детьми моими это... преступление...

Нугзар перевел дыхание, слабеющей рукой утер холодный пот со лба.

— ...Давайте на мгновение отвлечемся от гуманности... от лжегуманности и плоских лозунгов... порассуждаем так, будто мы наедине с самим собой... Когда за родину жертвуют жизнью... понятно. А когда другого спасаешь, но погибаешь сам?.. Это абсурд, неслыханный абсурд... ведь из двоих один остается навсегда... Значит... я ухожу из жизни, хотя в этом не было ника-

кой необходимости... Знаю, что напишут в моем некрологе: талантливый инженер... эрудированный специалист... В общем, человек большого будущего... преждевременно ушел от нас... Если бы у меня была хоть капля таланта, эрудиции, если бы Всевышний наградил меня даром прозрения... я бы никогда не совершил такого... Что вы скажете на это, батоно Дачи? — Нугзар откинулся на подушку, черная прядь волос упала на лоб, оттенив необыкновенную его бледность.

Врач сидел, боясь шевельнуться, и оттого казался окаменевшим. А может, и не казался вовсе? Что мог ответить он, не раз в бессилии отступивший перед смертью? Ему лишь хотелось поскорее уйти из этой палаты, покинуть ее, как поле проигранной битвы.

— Перед операцией вы сказали мне... нет, спросили: не сообщить ли родным?! Я отказался... Еще вчера я водил детей в кукольный... театр. Потом мы гуляли... В прекрасном настроении... пришли домой... И погода была чудесная... Хочу, чтобы мои дети помнили меня... таким... вчерашним... а не сегодняшним... измученным... Бессмысленно погибаю... бессмысленно. И детей бросаю одних... бессмысленно... Знаю, тот мальчик, которого я спас... не объявится... И вы не старайтесь найти его... Где гарантия, что из него... вырастет достойный человек?... А если он недочеловек... я буду виноват в этом!.. Если самопожертвование обязательно... то следует жертвовать ради лучших из нас... Не разыскивайте этого мальчика... не знакомьте с моими детьми... они возненавидят его... хотя он тоже не виноват...

В дверь постучали, послышался голос:

— Батоно Дачи, вас к телефону!

Опустив плечи, хирург направился к выходу. Подойдя к двери, он вдруг отчетливо понял, что оставляет больного, словно раненого на поле боя.

— Не приходите больше... не надо, — донесся до него слабый голос Кветерели. — И никого другого не впускайте... Хочу остаться наедине с...

Старый хирург не услышал конца фразы. Он приотворил дверь палаты, прислонился к ней всем телом. Огромное человеческое мужество умирающего, которого он оставил наедине со смертью, и бессилие перед ней, собственная беспомощность впервые выжали у него из глаз горькие скупые слезы...

Заявление



В приемной Н-ского райкома, точнее в приемной председателя Исполнительного комитета народных депутатов Н-ского района Абесалома Джикидзе вот уже с полчаса работник сельсовета села Цинсвла, давайте уж и тут будем точны, — председатель исполкома народных депутатов села Цинсвла Вахтанг Амиранидзе, упрашивает ярко накрашенную секретаршу:

— У меня ведь и дела-то — зайти и выйти!

— Сколько раз тебе повторять — не могу?! — Секретарша мельком заглядывает в ящик стола, где у нее лежит зеркало.

— Вот, — Вахтанг потрясает над ее головой «дипломатом», — дело у меня! Неотложное.

— У всех, кто к нему просится, дела неотложные.

— Я войду, и посмотрим, сможешь ли ты мне помешать! — Вахтанг решительно направляется к двойным, обитым дерматином дверям.

— Стой! — вскакивает секретарша, загораживая собою дверь. — Он же уволит меня!

— А тебе, небось, такой... — многозначительно умолк Вахтанг, — такой работы уже и в жизни не най-ти!

— Неправда! Как тебе не совестно...

— Боржоми подносить... или чего там еще...

— Не зарывайся!

— А то ведь хорошо, небось, себя чувствовала, когда нежилась у меня, будто в колыбели!

— Была бы я поумнее...

— Так ведь ты же полтора года назад философский факультет закончила. — Вахтанг небрежно проводит рукою по ее необъятным грудям.

— Убери свои руки, чтоб они отсохли! У некоторых оттого, что диплом имеют, знания через край бьют. — Секретарша вновь садится на свое место и теперь уже открыто глядится в ящик стола, где лежит зеркальце.

— Это ты про него? — Амиранидзе выразительно смотрит на дверь кабинета.

— Да, да, как же. Конечно, не о тебе!..

Требовательно звонит телефон. Секретарша, не разбираясь, кто звонит, залпом выпаливает:

— Да, но у него совещание! — Швыряет трубку. — Не могут припереться в приемные дни!

— Так, значит, не впустишь?

— Неужто не устал от пустых разговоров?

— Ну, если уж по-честному, так ты ведь не можешь... с ним, ведь он самый что ни на есть родной мой двоюродный брат.

— Знаю, иначе какой бы дурак назначил такого как ты, твердолобого, председателем сельсовета!

— В самом деле я был тупицей — высосала из меня все соки!.. Я тебе вместо дойной коровы был...

— Он меня неоднократно предупреждал — никого не впускать! В который раз повторяю, а ты никак не можешь вбить это в свою башку!

— Слушай, встань, пойди разомнись. Сходи куда-нибудь ненадолго, ну, хоть туда, куда царь пешком ходит.

— Если ты пристанешь к кому... — встает секретарша и направляется к выходу. — Только, гляди, не засиживайся!

Вахтанг провожает ее взглядом:

— Вижу, впрок тебе пошло ясельное питание!

Потом повернулся и шагнул к кабинету. Решительно отворил наружную дверь, затем внутреннюю, уважительно, но вместе с тем по-свойски спросил:

— Можно войти, дорогой Або?

Абесалом оторвал взгляд от разбросанных по столу бумаг, нахмурился, однако, увидев двоюродного брата, расправил морщинки на лбу:

— Входи, о чем речь!

— Господи, это столько тебе читать приходится? Битый час торчу в приемной! — деланно удивляется Вахтанг, протягивая руку.

— Не мог прямо войти, что ли? — крепким рукопожатием отвечает Абесалом.

— Не впустила она, твоя цепная собака, — выдвигая стул и садясь, возмущается Вахтанг.

— Тебе незачем спрашивать у нее разрешения! Пришел — сразу входи!

— Нет, дорогой, если я, брат твой, не уважу, так другой и вовсе наплюет. Ты — власть...

— Это тоже верно.

Вахтанг кладет на стол председателя свой «дипломат». перегибается над столом и внимательно изучает разложенные перед Абесаломом бумаги:

— С письмами трудящихся, стало быть, знакомишься? Ну, ну... И все это сегодня должен проработать?

— Делать мне нечего! А подчиненные, аппарат на что?!

— Не говори! Я тоже страх как не люблю читать. Ну как, вытащил своего крестника из милиции?

— Еще ночью. Не хватало мне отдать его этим ослам на потеху! А так, между нами, следовало бы его в кутузке подержать. Ну разве это дело — автоинспектора пинком под зад?! Человек на посту, можно сказать, при исполнении!..

— Он-то при чем? Ты ведь его надоумил.

— Твоя правда, — улыбнулся Абесалом. — Должен признаться, что твое поручение не смог вчера исполнить.

— Ты так говоришь, что мне ясно — завтра тоже не установят этот проклятый унитаз?

— Она ведь, матушка твоя, говорит, немецкий надо, а немецкие, сам знаешь, на дороге не валяются... Нынче вечером принесут. Вчера вызвал я на ковер управляющего стройтрестом: если, говорю, к завтрашнему дню не добудешь, свой поставь! Считай, отвечает, что он уже у тебя дома — главного инженера в город послал... Да, чуть было не запомятовал — через неделю будут «Жигули». Так что дело в шляпе, бери!

— А на какие шиши? Где мне взять столько денег?

— В долг возьми!

— Кто же даст!

— Э-ээ. Знаю людей, у которых деньги плесенью покрываются, на просушку развешивают, будто белье.

— Слушай, может ты сможешь? Через год верну.

— Что ты мелешь, Вахо? Кто мне деньги дает?

— Бедняга... Может, кто из тех, у кого плесневеют? Уж не думаешь ли ты, что я глухой и слепой?..

— Скажешь тоже! Что за власть у меня?.. — Абесалом смущенно пожал плечами, давая понять, что он человек не то чтобы большой, но в то же время и не

«совсем маленький. — Что ты повсюду «дипломат» с собой таскаешь, будто и вправду деловой человек?»

— Так ведь из-за чего я рванул к тебе! ^{живо} отозвался Вахтанг, обрадованный, что сменилась тема разговора. — Шио, ну ты знаешь, тот, что намечен кандидатом в депутаты райсовета... Герадзе, нынче утром заявление мне на стол бросил!

— Что ж ему от тебя надо?

— От депутатства отказывается.

— Что? Сейчас?! — будто пружиной подброшенный, вскакивает Абесалом. — А ну, дай сюда! — выхватывает листки, опускается в свое кресло и торопливо принимается читать:

«Председателю сельсовета селения Цинсвла товарищу Амиранидзе Вахтангу Иосифовичу от жителя того же селения, передового механизатора, кандидата в депутаты райсовета Герадзе Шио Абелевича.

Заявление

Заявляю, что не нужно мне ваше депутатство. Когда это я вас просил: выбирайте, мол? Если б это было делом прибыльным, кому бы пришло в голову выбирать меня?! Так как я знаю всех вас как облупленных — дай Бог себя так знать — понимаю, что вы цацкались со мною для того, чтоб я вкалывал еще лучше. Короче, хотите ишака из меня сделать. Мол, раз избрали депутатом, я и должен гнуть на вас спину... Но, ежели вы меня выдвинули, я вам сейчас такое бухну, такую правду — печка не выдержит, развалится. Что я знаю, кроме правды, да только кто же мне давал сказать?! Или, если и дадут, так кто же слушать меня станет? А если и выслушают, что ж из того?! Моя-то собака мяукает, а ваша кошка лает!..

Тамаз Гелашвили, что на животноводческой ферме вкалывает, которого Кроликом называют, ведь был уже вами выбран в прошлый раз депутатом. Так вот, он мне говорил, Кролик-то, оглоушат, мол, они тебя неожиданно, галстук повяжут, пиджак напялят, да и отвезут в район, усадят в зал, полный света, коврами устланный, и заставят в ладоши хлопать до посинения. Как же это, сынок, скотник я, и вдруг — галстук?! На кой шут он мне. Или, скажем, народный избранник, а народ-то меня и не выбирал?! Тебя ведь народ уже изб-

рал, зачем же еще и меня?! Ты ведь как в тот день бригадира нашего выставил? Шепнул ему, его, мол, меня то есть, назови кандидатом в депутаты. Он взял да и назвал. Думаешь, я не понял, отчего люди со смеху покатывались? Были б на самом деле выборы — народ сам бы достойного назвал. А так я чуть было сквозь землю не провалился со стыда.

Ведь я так понимаю: народ того выбирает, в чей разум он верит, кому доверяет. А кому не доверяет, значит, он человек, лишенный доверия, подозрительный. А такой человек — не человек, не годится он в вожаки... И что вы во мне нашли такого, для депутатства: подходящего? Я ведь заупокойную молитву толком сказать не умею, а уж речи-разговоры — и подавно. Выйду, нагну голову, будто бык, и молчу. Зато работаю — как вол. Не будь я рабочей скотинкой, мой сын Паата не поступил бы в высшее учебное заведение. Ведь как в моей семье? Все, что зарабатывал, на них старался потратить. Книжек в доме — как погода испортится и на улицу не выйти — читай, не перечитаешь! Я от нечего делать в них заглядывал, а уж дети и подавно. Бывало, телевизором их не заманишь...

Я что в одной книжке вычитал. Был, оказывается, в николаевские времена один писатель, фамилию не припомню никак, Чола его звали, это помню. Пришел этот Чола к Николозу-царю. Не нравятся, мол, мне порядки твои. А мне, Николоз отвечает, твой разговор и поведение твое не по душе. Сцепились они. В те старые времена милиция полицией называлась. Приказал Николоз полиции: этого, как там его, Чолу доставьте ко мне хоть живым, хоть мертвым. Ну, да этот Чола тоже не дурак был, чтоб за здорово живешь в руки преследователям попадаться. прятался себе то там, то сям. Видать, что-то там совершил он все же тогда, иначе не стали бы его преследовать тогда за то, что человек лишнего сболтнул! Вон в нашем селении перед войной тоже шестерых сразу схапали, так и исчезли, будто и не жили. Среди этих шестерых и мой дядя Абрива был. Как шаг первый по земле сделал, так, оказывается, уже был врагом народа.

Ну, значит, Николозовы люди идут по следу, а Чола следы как лиса путает. А тут как раз выборы назначили в Государственную Думу. Мол, люди, кого вы

изберете депутатом, те и будут участвовать в делах, от которых зависят судьбы мира. Устроили голосование. Из пятерых кандидатов народа избрали этого самого Чолу. Во-первых, ежели другие и книжки не видели, так этот сам книжки пишет; во-вторых, столько человек спит, будто зяблик с открытыми глазами, чтоб не схватили врасплох, значит. Для него это дело привычное. Теперь сможет поспать спокойно.

Победил Чола на выборах, из подполья на свет вышел — кто ж теперь посмеет его хватать — человек депутат Думы! На следующий день встретил начальника полиции, того самого, которому было поручено арестовать Чолу. Как поживаете? — с улыбкой спрашивает Чола. Хорошо, батоно, — отвечает тот, а лицо его в улыбке расплывается, — по милости Бога, царя и Отечества. Ну, по милости Бога, царя — что тут скажешь, а вот Отечества — вправду хорошо. Почему вчера к нам не заходили? — расплывается в улыбке лицо начальника полиции. Очень хотелось вас видеть, но никак не мог время выкроить, — тоже улыбается Чола.

Вот ведь как! Вчера один прятался, другой охотился за ним, а нынче учтивость друг к другу выказывают. Едва ли не друзьями расстались. Вот вам выборы, вот вам и депутат! А что я?..

Ну, а если вам такой депутат, как я, понадобится, так что, перевелись что ли ишаки в нашем селении? Сколько лет не можем водопровод провести, ни мольбы, ни просьбы не могли решить дело, на жалобы перешли — все равно никакого сдвига не добились. Кроме обещаний, ничего не выбили. Объявите меня депутатом, а люди и скажут: сын Абея, ты наш избранник, подсуетись, не дай нам умереть от жажды! Что мне им ответить? Что дом, еще отцом построенный, до сих пор не могу оштукатурить снаружи, дабы врагам глаза замазать? Стены, смешно сказать, сплошь ласточкиными гнездами покрыты, из щелей трава растет, так что все коровы у нашего дома останавливаются, чтобы пощипать травинку, другую! Хозяин такого дома что сможет? Заставить Алазани повернуть вспять, чтоб напоить односельчан?! Сказки, которыми каждый вечер нас потчуют по телевизору, дескать, спокойной ночи, малыши, я уже не слушаю. Так эти телесказки ни в какое сравнение не идут с теми, что рассказывает на-

ше районное начальство, а уж на что способно начальство повыше, так вы и без меня знаете.

...Народ-то что скажет? Раз руководство районное усами не шевелит, пусть, мол, избранные народные идут выше, к правительству. Как же, пойду я! Как бы только случайно дорогу не спутать! От силы раз десять, наверное, и бывал в столице, да и то — на Солдатском базаре. С виноградом. Утром водители отвезут, вечером же, как договорились, назад забирают. А дальше базара я — ни ногой! Теперь виноград продавать запретили, вот и перестал я по рынкам разъезжать. Да если бы и не запретили и время было бы, каким бы, интересно, чертом торговать? Деревья фруктовые, растущие во дворе, посадки этого года, не плодоносящие. А если бы и плодоносили, противогодовая защита такое вытворяет, что я и вкус-то фруктов давно забыл! Что спелой алычи, что груши, что смородины или крыжовника, что сливы. А ткемали и вовсе незрелым срываем, чтоб град не побил... Виноград на рынок возить нельзя, вино и чачу делать запрещено — так на кой черт нам тогда виноградники, холуй вы дьяволы?!

Браниться, мол, умею? Так по вашей же милости научился! Заслужили — вот и браним! Вот я, вот мое селение! Пусть хоть один человек встанет и скажет мне: честных, мол, людей зазря бранишь! Ни один не скажет!.. Да и если не нравится вам, что на вас же и ворчу, — зачем тогда меня выбираете? Выберите того, кто все по шерсти гладит, а не против! Такой человек есть в нашем селе. Крысолов! Правда, глухонемой он, потому и молчит...

Стало быть, уважаемые, я нужен вам для заполнения зала — чтобы исправно ходил я туда, в ладоши хлопал. А здесь же как? На трактор кто сядет, жена моя?..

Приготовил я тут ручку, сел писать свое заявление, а сын мой Паата, тот, что студент, говорит: не дразни ты их, отец, как медведя в берлоге. Не знаешь, закон ведь в их руках и правосудие. Придерутся к чему-нибудь и посадят... А я что, я давно уже сижу. Какие у меня права? Тутовое дерево на крыше собственного хлева стряхнуть не имею права, из собственного винограда вино давить тоже права у меня нет, в аптеке стукнуть кулаком и потребовать отраву для мышей

— тоже не имею права... А вот на тракторе трястись от рассвета до заката — у меня полное право. Еще затемно встаю, тороплюсь на машинный двор, домой прихожу, когда луна над селением повиснет... То на «Беларусь» тебя гонят, то на «К-750». Где понадоблюсь, туда и гонят. А когда наступает пора опрыскивания виноградников, вовсе домой не хожу, ночь напролет в купоросе. И какой дьявол выдумал эти ядохимикаты, мать бы их за ногу! Глядишь, скоро все от ядохимикатов этих неизлечимыми болезнями страдать будем. Двоих уже только из моей бригады на пенсию спровадили. Одному туберкулез определили, другому расширение печени. Никто ведь не хочет говорить правду, сор из избы выносить!

Кто ничего не делает, тому и не поручают ничего. Это всем известно. А я из сил выбиваюсь, так меня еще больше нагружают. Ты, говорят, передовик. Какой я передовик? Просто за работу ведь деньги платят. Вот я и стараюсь лишних пятнадцать-двадцать рублей заработать. Семья у меня большая, хлебосольная, сын в столице учится, обувь его и одеть надо. Вот я и ушел в горы, как известный разбойник Арсен. День и ночь в поле... Так, бывает, намаешься, что, придя домой, внука своего Пепелу на руки взять, приласкать сил нет. Спасибо, что хоть узнает меня...

Вот вы все мне тут толкуете: говори, мол, всю правду! Ну, а я своим умом крестьянским так рассуждаю: нельзя самые сокровенные уголки души для всех открывать. Ни за что! Ну, скажите на милость, какому это горбтому понравится, если ему скажут, что он горбатый? А слепому по душе придется, коль ему заметят: куда, мол, ступаешь, не видишь разве — дерьмо под ногами?!

Никто не возражает, конечно, мы в долгу перед правдой, долго за нее ложь выдавали. Потому народ и торопится всю ее высказать. А что, если вы вдруг повернете стопы в сторону от правды, куда тогда нам податься? Порой то в жар, то в холод меня бросает, как соберусь высказаться. И все же не отказался бы я стать депутатом: столько всего на душе накипело... Но накануне директор нашего совхоза вразумил меня... Хотя надо рассказывать с самого начала. Год назад в такое же время посылает от меня в Насоплари. Ты, мол, здеш-

ний, знаешь, какие у нас там сенокосные угодья. А я уже бывал там однажды, после чего просил поручить что угодно, хоть родник провести в селение с вершины Кавказиони, только не на сенокос. А он мне: план, мол, по сенозаготовкам не выполняем, надо бы немного прибавить в сенокосе. Как ни отбивался, но он как пиявка присосался. Что оставалось делать? Надеть шапку, выйти потихоньку и отправиться куда просят. Так я и сделал. Подогнал свой «Беларусь» в Насоплари, накосил, загрузил прицеп с верхом и потихоньку назад. А луга насопларские прямо подступают к заповедно-охотничьему хозяйству, где фазан водится. Председатель райохотсоюза каждый год слезно умоляет: не сейте вы, тем более клевер, рядом с заповедником! Никто его не слышит! Когда ж это бывало, чтобы сова ослиный язык понимала!

Беда-то в том, что фазан очень любит в клеверах гнездо свое устраивать. Сенокосы подходят к самой границе заповедника. Так ведь фазан не человек, откуда ему знать, что такое граница! А птица-то вкусная! Подстрелишь, выпотрошишь, там уж дело вкуса — хочешь на вертеле зажарь, хочешь чахохбили сделай. Председатель охотсоюза просит: не устраивайте сенокосные угодья под боком у заповедника — гибнет птица! А директор совхоза свою песню тянет: этот ваш фазан, находящийся под защитой закона, мне все планы сенозаготовок срывает. Районное руководство, ясно, директора поддерживает. Не слушай, говорит, этого афериста, на словах он такой законник, а на самом деле большего браконьера, чем весь их союз, в нашем районе вряд ли найдешь. Плотинами Алазани перегородили, чтоб рыба лучше плодилась да им же на стол шла. А пороху, дробь попробуй купи в их лавочке — никогда на прилавке нет! Честного из себя строит...

Но вернемся к нашему Насоплари, к сенокосным лугам: наступает время первого покоса, а фазан как раз в это время птенцов высиживает. Самка либо сидит на гнезде, либо птенцы уже вылупились, тянут голые шейки из гнезда. А тут мы с нашими косилками... Чирк — и нет гнезда, чирк — и бедные птенцы гибнут. Самки фазанов, защищая гнездо, бросаются на косилки, как в атаку идут. Крылья ломают, лапки теряют, гибнут. но отстаивают родное гнездо.

И что мы за твари, люди-то? Не скажу, что так уж близко к сердцу все принимаю, что готов отказаться от мяса. И курицу съем за милую душу, и от индюшатины там, гусятины не откажусь. Цесарку, правда, не пробовал... Так вот, сначала мы всю эту живность откармливаем, чтобы после ее же и съесть — таков закон природы. Ну, а эти-то, фазаны, чем они нам насолили, что так безбожно, бессмысленно, безжалостно их истребляем?!

Как же любят своих птенцов эти фазаны, что даже на смерть готовы, лишь бы их защитить! Эх, плюнул я тогда на весь этот сенокос: да ну вас к такой матери — и директора, и сенокос, и план заготовок, — развернул свою машину — и домой. Дошло до директора, примчался, как кинулся на меня: если, дескать, план сенозаготовок сорвется, я из тебя котлету сделаю! Да что ты мне сделаешь? Ведь и у меня на голове шапка, а не бабий платок, я тебе и не такое устрою, будет вдова на могилку ходить, травку выщипывать! Ну и двинул его разок...

Думаешь, пошел жаловаться, в суд подавать? Как бы не так! Знает, что у самого рыльце в пуху — двери и оконные рамы, предназначенные для сельского клуба, себе домой приволок: мне, мол, нужнее! Оно и понятно — сам строится. Половина ворованных конструкций уже к месту прилажена, половина — в марани сложена. Это-то и вынудило его отказаться от мысли засадить меня. А так — не миновать мне тюрьмы!..

И надо же: чуть больше года прошло с того случая, а память ему словно бы отшибло. Вызвал вчера в свой кабинет, поезжай, мол, в Насопларские луга клевер косить. Я думал шутит, рассмеялся даже. А он: ты смотри, на своего начальника зубы скалить вздумал!.. Ну, а на меня уж бес нашел. Так, говорю, и так его мать, того, кто тебя, балбеса, насквозь прогнившего типа, сюда прислал. Ты что, забыл, за что я тебя год назад этим вот кулаком приласкал? Да пропади пропадом этот ваш мандат! Принесете на дом, разорву и в лицо вам брошу. И вообще, некогда мне с вами языком чесать. На то, чтоб написать это заявление, едва часок выкроил. Зарубите себе на носу: не злите меня больше, не то — такого наговорю!.. На душе накипело — на всех хватит!

Вахтанг закончил чтение и перевел дух.

— Слушай, какое сейчас время отказываться? — взорвался Абесалом, судорожно дергая ящик стола. Достал какой-то список, ткнул его под нос Вахтангу. — Кто говорил: вот этого выбери? Выбрали бы — осрамил бы на всю республику.

— Разве не ты сам говорил, что обязательно надо механизатора?

— Раздобыл бы другого! Что — в селе один механизатор? Выборы ведь через пять дней. Узнают, что до сих пор кандидатуру подбираем — три шкуры спустят! Одним веником нас с тобой выметут!

— Он самый лучший работник!

— Брось! Знал бы раньше, виноградарями твоё селение заселил бы, а механизаторами — другое. — Абесалом вновь уткнулся в список. — Не могли для нас женское место зарезервировать. На один процент, говорят, женщин и так больше, чем мужчин. Давай овцевода какого-нибудь подыщи!

— В хозяйстве ни одной овцы, откуда же взяться овцеводу? А что, если учитель?..

— Какой, например?

— Ну, Мзию Берикашвили, что в младших классах работает, четверо детей у нее...

— Слушай, ты что, погубить меня задумал? В позапрошлом году не ее ли послали на учительскую конференцию в Батуми? Так она вышла на трибуну и брякнула: куриных воров, мол, ловим, а настоящие преступники на свободе гуляют... Нет, свинарку какую-нибудь лучше подыщи... или это опять животноводы? Может, на кроликоферме поискать?

— Не ты ли сам напсртачил на ферме?

— Ах, да! Зря я, конечно... Как же нам быть?.. — Абесалом рассматривает список кандидатов. — Может, опять выберем Тамаза Гелашвили, он, кажется, снова на животноводческой ферме?

— Плохи у него дела — ему кражу коня приписывают.

— С-ссукин сын! Куда спешил? Выбрали бы его, потом бы пусть и тащил этого коня! — Абесалом поднимает телефонную трубку, набирает номер:

— Типография? Очень хорошо. Кирилэ, мы тут

какое-то постановление сверху получили. Приостанови печатание бюллетеней... До утра. Половину, говоришь, отпечатали? Есть ли в них Шио Герадзе? Нет? Прекрасно!.. Там, где должно быть Герадзе, фамилию пока не печатайте. Жди моего звонка...

Кладет трубку и глубокомысленно смотрит на список, потом внезапно оживляется:

— Слушай, давай-ка Фридона Мемарнишвили выберем, завгаражом?

— Он ведь в тюрьме сидит. Авария, — коротко объяснил Вахтанг.

— Ну так пораскинь мозгами! Сам виноват, мать твою, тебе и выход искать.

— Постой, — улыбается Вахтанг. — Племянника нашего директора, Нугзара, знаешь? Так вот, на медицинский поступать хочет. Вот и зачислим его скотником. Сегодня зачислим, а завтра объявим кандидатом в депутаты... Можно даже сегодня.

— Ну, вот и слава Богу! А то ведь столько лет ты мне двоюродным братом приходишься, а толку от тебя... Знаю Нугзара, как же! Давай, пулей лети, приводи в порядок документацию. Собрание проведи сегодня же, протоколы ночью привези мне домой. Да, вот еще что: прежде чем пойдет на собрание, пусть руки вымажет чем-нибудь, чтобы подумали — прямо с фермы пришел... Что?.. Материться любит? Ну, так скажи, пусть поостережется, а лучше пусть на собрании молчит. Сам за него все скажешь... Когда в день выборов мы, районное руководство, вызовем его на беседу, пусть на все кивает в общем, как полагается в таких случаях... Да, в документах чтоб было: работает, мол, скотником почти год. И гляди, не вздумай зачитать заявление этого Шио...

Вахтанг бросился к дверям. Абесалом проводил его взглядом, дождался, когда хлопнет дверь, поднял трубку:

— Ушел? — спросил секретаршу. — Слава Богу! Ну, заходи, заходи скорее...

Авторизованный перевод
Лианы ХЕЧУАШВИЛИ и Валентина ДОЛЬНИКОВА





Из цикла „Осколки зеркала“

Хоть бы сейчас...

Читаю газету.

В скупых новостях
Вижу руки, протянутые ко мне.
И убегаю, убоявшись себя...

• • • • •
Если б сейчас этому небу и этой земле,
И оленю, рухнувшему в траву,
Омыла бы раны моя строка...

Цветок граната

Я видел, как тяжело
Ты поднималась
В набитый людьми автобус.
И вспомнилось мне:
Лет двадцать назад
Ты тянулась к цветку граната,
И на тебе было очень короткое платье...

Улица

Увидев, как ты смеешься,
Думают об одном.
И замирают,
Чтобы разглядеть тебя,
Но если ты плачешь,
Думают неведомо что
И спешат уйти...

Отечеству

Нет таких,
Кто, увидев тебя,



Не ослеп.
И сейчас я один из них,
Сидящих на краю большака
И вопрошающих: «Оно
По-прежнему живо?»

Гуси

Дядя мой не любил гусей.
И тетке пришлось
Их порешить.
Но овдовев, гусями вновь обзавелась:
Пусть хоть они ходят, белые...

Кошка

Нынче, завидев кошку,
Вспоминаю ее хищный нрав.
А было время —
Мне вспоминалась ты...

* * *

Когда это,
Гогла,
Мы скажем,
Что мы сильнее
Врага,
Что эта гора
Уже наша,
И на ней
Виднеется
Стадо оленей.

* * *

Свечи и
Розы, и
Молитвы...
Как прекрасен будет этот мир днем!

* * *

Зачем искала меня,
Если вновь должна позабыть?
Разве в жизни миновали меня
Горечь и грусть?

Обдувает камни
Горячий поток самума.
Имя твое
Жжет мои губы...

* * *

Наконец-то и мы взяли серпы,
Чтоб цветы превратить в солому.
Наконец-то и мы срезали прут,
Чтоб себя погонять,
Или заставить бежать другого.

* * *

Я словно продолжаю сон детства:
Вывожу на песке стрелу и сердце,
Словно я ровесник тому мальчишке,
Который на берегу Риони
Бежал за ветром!

* * *

Что бы ни сказал тебе —
Нового не скажу.
Ведь даже розы
Не новы на земле.
Уповая на это,
И посвящал я тебе стихи.

* * *

Какие б метели
Ни звенели вокруг,
Сколь бы ни был я нищ,
Стоило лишь
Сказать: «Мой край...»,
Чтобы щебет ласточек
Различить...

* * *

Осторожно иду по ее следам,
Которые только одну мысль
Способны внушить:
«Рассвело».

* * *

Она бросала в реку камушки
И смеялась,
И снова бросала камушки в реку...



Через белую изгородь
Несмелые парни...

* * *

Прощаясь,
Говорю птицам и розам:
Дорогие,
Если я приду снова —
То лишь для того,
Чтобы освободить вас.

* * *

Мир ласточкам и гнездам их.
Домам —
И плохим, и хорошим.
Я ни за что не поверю,
Что сегодня
Кто-то здесь желает иного...

* * *

Если ты свеча —
Гори,
Чтоб осветить ночь.

* * *

Я любил вас...
Не будем ничего вспоминать,
Не расскажем о том, как жили,
И про годы — не будем...
Сядем —
Темнеет —
И будем считать звезды...

* * *

Я брат всякому,
Кто умеет радоваться чему-то —
Пусть даже бумажному цветку.

* * *

Если ты даже предашь меня,
Даже предашь,
Я никогда не стану твоим врагом.

Перевод Викторини ЗИНИНОЙ



Из книги посвящений

Песня о Нико

В сиреневой рани, Курой, на плоту
Нико Пиросмани плывет в темноту...

А в дымном духане творится легко.
Нико Пиросмани, спокойный Нико.

На ослике мальчик. Доярка. Рыбак...
А счастье маячит за кучкой зевак.

Косуля багрова, и красен олень...
Без хлеба, без крова. Судьба набекрень.

В сияющей рвани, на утлом плоту
Нико Пиросмани плывет в пустоту...

По черной клеенке крадется медведь.
Фанерке, картонке в веках не истлеть.

И женщина с пивом, и строгий кутеж...
Он был молчаливым—мятежный, как дрожь.

Туманились дали — в добре и во зле.
Он умер в подвале. Могила? В Земле!

И кадры — лишь эти я в песню вплету:
Нико по планете плывет на плоту...

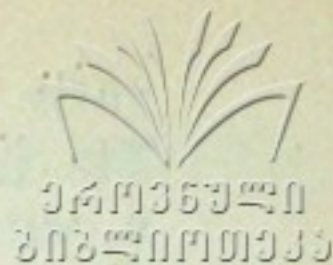
Слышу я далекий голос

ДЕДОВ

Давиду Баазову

Не могу отчизны не воспеть я,
голос сердца ведь еще не стих...

Грузия! Сквозь два тысячелетья
слышу поступь предков я своих.



Вот они шагают по пустыне,
в горы поднимаются... Потом
под твоею кровлей бело-синей
обретают вновь родимый дом.

Здесь они своих находят братьев —
не по вере, крови — по добру;
чувств они извечных не истратив,
всюду приходились ко двору.

И молва во все края летела,
всех единоверцев изумя:
«Есть земля на свете — Сакартвело.
Это наша общая земля!»

Здесь, печаль и радости изведав,
новый начинаем мы разбег...
Слышу я далекий голос дедов:
«Будь счастливой, Грузия, вовек!»

На двадцать лет тебя я старше...

Герцелю Баазову,
погибшему в 1938-м...

Гремели праздничные марши,
и шла страна моя вперед...
На двадцать лет тебя я старше!
Они прошли —
за годом год.
Года, вошедшие в полвека,
с того трагического дня,
когда не стало человека,
свой свет
излившего в меня...
Имею ль право я назваться
достойным сыном?
Лет багрец...
На двадцать лет (уже на двадцать!)

тебя я старше, мой отец!
Ты пылью стал в конце тридцатых,
а мог вполне пройти сквозь них.
Но был потом
среди распятых —
еще конец сороковых...
Идут года, слегка уставши.
Ушли в забвенье мрак и зло...
На двадцать лет тебя я старше —
мне просто больше повезло.
Сейчас, в конце восьмидесятых,
все ярче свет угасших звезд...
Года
в прорехах и заплатах
встают навечно.
В полный рост!

1988

Я знаю мир...

Памяти Георгия Маргвелашвили

О, мир квартир! Ты людям дан от века.
Твой дух, немного таинства кумир,
становится душою человека...
Чувствительный, чудной и чудный мир!

О, мир квартир! Причудливый и чуткий.
В тебе сплелись и новь, и старина,
любовь и грусть, отчаянье и шутки,
звучит веков забытая струна...

Я знаю мир — лучи его расшили,
пронзив зарей забвение и мрак.
Со стен его глядят — Гудиашвили,
Булгаков, Мандельштам и Пастернак.

В прекрасном здесь не прячутся пробелы,
галактикой блестит Галактион,
горит звезда Марины, Анны, Беллы, —
живая связь пространства и времен.

Я знаю мир — в нем трепетное Слово
гремит сильнее грохота мортир.
Он — мирозданья нашего основа.
Пусть будет вечным этот светлый мир!



В ИЗГНАНИИ

РАССКАЗ

То спеша, то замедляя ход, все дальше и дальше на восток уходил эшелон. От теплых тбилисских улиц, от редких его февральских снежинок увозил он несколько тысяч людей, переселяемых куда, на какой край света, никто не знал. От дыхания сотен людей в товарных вагонах с кое-как прибитыми нарами было более или менее тепло, и только на остановках, когда отодвигались засовы и конвойные командовали: «Женщины — направо, мужчины — налево», — холодный и чужой ветер со снегом летел в лица, залепляя глаза, да оно и к лучшему — не стыдно, не видно друг друга. Многие ехали семьями, у некоторых, наоборот, мужья или жены попали в другой эшелон, и неизвестно было, в одно ли место привезут, встретятся ли?

Старухи молились; привыкший к веротерпимости Кавказ — католики, и православные, иудеи и мусульмане, не ссорившиеся в благословенном Тбилиси, — и здесь, каждый по-своему, просил заступничества у своего Бога. Все они были грешны перед ним, но тут суд творили люди, и по каким законам, никто не мог понять.

Уже более десяти дней Нана со свекровью и маленькой дочкой то сидели, то лежали на жестких нарах, ели вместе со всеми теплую баланду и все строили догадки: где Ефрем, остался в Тбилиси или тоже едет в каком-нибудь эшелоне?

Когда пришли за старой Ханэ и объявили, что она в списках на выселение, Нана, несмотря на веление свекрови: «Возьми ребенка и поезжай к матери, ты грузинка, тебя не тронут», — кинула в общий узел и свои пожитки и, взяв плачущую Арбелу (это свек-



ровь дала ей старинное ассирийское имя), села в «черный ворон». Она знала, что старуха недолюбливает ее, недовольна, что сын женился не на «своей», но разве время было сводить счеты?

С утра Нане нездоровилось. Свекровь, покачивая на коленях внуку, предавалась воспоминаниям с соседкой, бабушкой Асмик. Та рассказывала, как бежала от турецкой резни, как похоронила в дороге детей. Старая армянка вспоминала залитые кровью улицы Караклиса, чудом уцелела она тогда, единственная из огромной семьи. Как всегда, ссорились там, наверху, а страдали они, простые люди.

Нане становилось все хуже, и свекровь, заметив это, сжавшись в комок, тихо спросила:

— Что с тобой, дочка, живот болит? Может, от баланды? — Но, приглядевшись, воскликнула: — Это что за пятна? Надо доктора позвать!

В эшелоне был врач. Каждое утро молоденькая Лидия Ивановна, брезгливо поджав губы, проходила по вагонам «с целью выявления больных», как ей было приказано. Ее подташнивало от запаха керосина, давно немытых человеческих тел, но что поделаешь... Она должна выполнять свой долг. Грузия, куда Лида попала недавно, по распределению, ей понравилась: теплая зима, обилие фруктов, красивые и щедрые мужчины... Пять лет как кончилась война, жизнь налаживалась, но, как было известно из газет, «враги не дремали», и поэтому она не особенно мучилась вопросом, зачем выселяют этих людей?

Уложив Арбелу, старухи принялись хлопотать вокруг больной: пощупали лоб и, решив, что горячий, приложили мокрую тряпочку; сокрушались, что нельзя заварить чай — лучшего лекарства, чем стакан чая, в таком случае нет. К этому времени подошла Лидия Ивановна. Не присаживаясь, она сунула больной градусник, взгляделась в пятна на ее лице и внутренне похолодела:

— Тиф, бабушки, тиф, — почему-то шепотом сказала она.

— Что ты, доктор! — всплеснула руками Ханэ. — Мой дети был тиф, совсем не такой!

Она принялась объяснять, как это было у ее детей, но Лида не слушала, держала руку больной, нащупы-

вая пульс, а в голове телеграфом стучало: что же теперь будет? Она боялась, что начнется эпидемия. Вдруг она вовремя не распознает, неправильно поставит диагноз, «не оправдает доверия», и ее, как и их, оставят где-то там, в холодном, неизвестном Казахстане? «Надо доложить начальству!». Она встала, кинула на ходу:

— Пойду спрошу, когда станция. — И не видела, как при этих словах окаменела старуха, как обреченно повисли ее руки: сын неизвестно где (в ночь выселения он ночевал у крестных), невестку высадят, она останется одна с маленьким ребенком.

А Лидия Ивановна тем временем тщательно протирала руки спиртом (еще не хватало заразиться!). Правда, она не ощупала больной живот и не осмотрела язык, но лучше перестраховаться и убрать ее с поезда.

Пришлось долго объяснять начальнику, что и как, она хотела доложить складно, но не получалось, и тот, в конце концов ничего не поняв, зло спросил:

— Так тиф или не тиф? Что вы тут мне голову морочите: не уверена, сложный случай. Вы врач или кто? Чему вас там в институтах учат? — Он посмотрел на часы, взглянул на карту. — Скоро большая станция. Сдадим тамошнему начальству, разберутся. Пройдите еще раз по вагонам, выясните, нет ли температурающих. Если есть — всех с поезда снять.

В одном из вагонов, протянув веревку от одной нары до другой и повесив на нее простыню, две семьи оборудовали нечто вроде купе. С одной стороны пристилась еврейская семья — ассирийские евреи, издавна гонимые неведомо за какую вину. Они не знали идиша, говорили по-армянски и по-грузински, но всегда свято соблюдали субботу и ели только кашерную пищу. Впереди была пасха, и впервые за многие годы они должны будут встретить ее без мацы — там, куда их везли, вряд ли есть синагога. На соседних нарах разместились молодая женщина и девушка лет восемнадцати-двадцати. Это были мать и дочь — Роза и Карина. Карина, кроме привлекательной внешности, обладая еще и общительным характером, часто собирала вокруг себя молодежь, и они вели долгие разговоры, переходившие иногда в ожесточенные споры. Роза боялась за них, умоляла говорить потише, но они

смеялись над ее страхом — все равно дальше, чем везут, не пошлют. Среди них были грамотные ребята, знавшие историю. Они могли доказать, что их предки никогда ничего дурного не сделали той земле, на которой жили. Они любили эту землю, верили в то светлое будущее, которое им обещали. Работали, недоедали, воевали с фашистами вместе со всеми. И вдруг, через пять лет после войны: «Особое совещание постановило: ирано- и турецкоподданных, бывших и настоящих, переселить». Эта весть обрушилась на них неожиданно, ее не объявили днем на площади, об этом умолчало радио, ее прокаркало воронье — «черные вороны», которые увозили их тайком февральской ночью. Те, кто узнал об этом поутру, содрогнулись. Содрогнулись и промолчали, принесся очередные жертвы Молоху, моля его (как молили раньше и те, унесенные вороньем) пощадить и не трогать их. Мясорубка, раскрученная много лет назад, продолжала работать; мясорубка, в которой трещали кости людей всех наций, больших и малых.

— Дедушка Ишу, почему нас выгнали из дома? — черноглазый мальчик с серьезными не по возрасту глазами примостился на коленях у пожилого мужчины.

— Гиву, сынок, наши старики говорили: «Сироту даже у буйвола на спине жалит скорпион». Мы тоже сироты, вот и гонят нас. Когда я был молодой, турки дважды устраивали резню и мы бежали из своего дома. Русские открыли нам границу и разрешили жить у них. Но сейчас они поступили с нами, как тот человек, который спас овцу от волка, а потом сам же ее и зарезал.

— Это все НКВД подстроило, — продолжая бесконечный спор, заволновался мужчина на соседних нарах. — Нужно же им за что-то звания получать. Слышали, как Рухадзе на перроне говорил: «Я и не знал, что у меня в городе столько мусора». Сволочь проклятая, люди для него — мусор.

Его поддержали другие.

— Точно, это все их дела. Обманули Сталина, наговорили на нас.

— Сталин ничего о нас не знает. Надо было в Тбилиси кому-то вырваться, дать ему телеграмму. Тогда бы выселение приостановили.

— Конечно, надо было. В чем мы виноваты?

— Может, с Ираном отношения испортились или турки к войне готовятся, поэтому и нам не доверяют, — слышался чей-то голос.

— При чем здесь Турция с Ираном? Мы их в глаза не видели, мы здесь родились. А выслали нас, чтобы дома отобрать и имущество захватить. А нас — на какую-нибудь стройку, задарма работать. Раньше зеки Беломорканал строили, теперь наш черед, — говоривший осекся, увидев докторшу.

Она шла по вагонам, вглядываясь в лица людей. Не все смотрели доброжелательно, ох, не все! О чем они там по-своему шепчутся? Может, против советской власти агитируют? Вдруг ее скользящий взгляд задержался на девочке — подростке. Стоя на коленях, она гладила руку лежавшего на нарах мужчины. «Больной?» — Лида сделала шаг в их сторону и отпрянула в недоумении — столько ненависти было в глазах девочки.

— Папа здоров!

— Сима, не надо, Сима, — мужчина сел, притянул девочку к себе. Лицо в морщинах, голова седая.

«Да зачем он мне нужен? Пропадите вы все пропадом! Еще переживай за вас...» Лида решительно пошла дальше. Нану высадили на станции одну.

А эшелон все ехал и ехал в черную неизвестность. Спорщики уgomонились за полночь. Роза не могла уснуть, глядела на грязную решетку заколоченного окна. Ей уже под сорок, молодость прошла. Всего несколько лет жизни с мужем... Были ли они? Его забрали, как и всех в те годы, ночью. И, как и все, он думал, что это недоразумение. Чем он мог провиниться, простой рабочий человек? Она носила передачи каждый день, но их не принимали. А потом ей выдали узелок с его одеждой, и проклятое окно захлопнулось навсегда. На работу не принимали, она горбилась день и ночь за швейной машинкой, растила дочь. Карина кончила курсы медсестер, мечтали, что начнет работать. Но ее тоже никуда не брали. И замуж не вышла, а могла, за хорошего парня, Нико. Но он военный, а у нее — подданство. Был новый указ после войны — браки с иностранцами запрещены. Это они-то — иностранцы. Отцы ели кислый виноград, а на зубах у детей — оско-

мина. А были ли в чем виноваты отцы? Ее родители, погибшие во время турецкой резни? Старики-ассирийцы, воспитавшие ее, армянскую девочку, как свою дочь? У них тоже не было советского подданства. И откуда ему взяться, если они родились в Урмии, в Иране? Их отдали на закланье тем, кто грел руки на костре мировой войны. Все они были жертвами времени, жертвами религиозной вражды. Их, беженцев первой мировой, приютил Кавказ, который сам еще в те годы не был советским. Хорошо, что они умерли раньше, не дожив до тридцать седьмого, до страшных ночей пятидесятого, — Бог решил, что с них хватит страданий. А теперь этот крест несут она и ее дочь.


Тот день она как всегда провела за швейной машинкой. Спокойно легли спать. И вдруг ночью — стук в дверь. Она посмотрела на часы — глубокая ночь. Открывать было страшно. Стук повторился, настойчивый, негромкий. «Откройте, НКВД». Что нужно этим пятерым мужчинам в их доме? Только к ним пришли или к другим тоже? Они стали расспрашивать ее о родителях, о муже. Ходили вокруг да около, видно, и им было нелегко выкидывать из дома двух беззащитных женщин. Наконец высший чин прочел им постановление Особого совещания. Она закричала, она хорошо помнит, что истошно закричала, и этот крик разбудил весь двор. Хлопали двери, сбегались соседи. А она каталась по полу в истерике и молила военных, чтобы ее пристрелили. Пусть пристрелят, чем выгонять из дома. Страх, с детства сидевший в ней, — страх резни, бесконечных дорог, голода, смертей—проснулся в ней, прорвался диким криком. Страх за дочь, в жизни которой повторялась ее проклятая жизнь, душил ее. Вокруг суетились соседи, собирали их вещи, что-то тащили. Бледное, решительное лицо Карины: «Мама, мама! Одевайся, надо идти». «Черный ворон»? Они что, преступники? И тут она сникла, не было сил ни кричать, ни плакать. Окаменела. Смутно помнился вокзал, толпы людей, Нико, вдруг оказавшийся рядом с Кариной. Лязг задвигаемых засовов, темнота и кошмар вагона, запах керосина, пота, мочи. Дни и ночи под стук колес, дни и ночи без сна, в каком-то забытьи: тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Унижение и стыд, когда на остановках конвойные приказывали: мужчины — нале-

во, женщины — направо. Бесконечность дороги, ее неизвестность, и в стук колес: куда-куда-куда? Холод и грязь, хочется отмыть руки, лицо, хочется чаю. Хочется чаю. Наверное, она так громко вздохнула, что Карина спросила шепотом:

— Мама, ты что?

— Нет, ничего. спи, детка. — И сама закрыла глаза, но сон не шел. Все это время Розу мучила мысль, что она виновата в несчастиях дочери. Это из-за нее девочке вовремя не дали советский паспорт, из-за нее она не вышла замуж. Нико жил недалеко от них, он был старше Карины на несколько лет. Успел к концу войны повоевать, вернулся боевым офицером. Пока они компанией ходили в театры, в кино, гуляли по проспекту Руставели, Роза не возражала. Но когда он сделал Карине предложение, произошел неприятный разговор. «Вы не можете жениться на моей дочери, это испортит вам карьеру». (Почему она говорила ему «вы» и какое ей было дело до его карьеры? Это все гордыня, проклятая гордыня!). «Разве все дело в официальной бумаге? Существует и гражданский брак». «Нет, его больше не признают». «Ну тогда я украду ее! Увезу к своей тетке в Манглиси и все само собой образуется. В Грузии мы или нет?» Увезти? Да как он смеет предлагать такое? Чтобы чистое имя ее девочки склоняла вся улица? А его родители? Захотят ли они такую невестку? Нико уверял, что родители согласятся. В конце концов он поступит по обычаям предков. Но Роза была непреклонна. Обо всех и обо всем подумала она тогда, и о чести, и о гордости, только девочку свою не спросила: как думает поступить она? И что же получилось? Убежали от дождя да попали под град.

Карине тоже не спалось. Нико, Нико, Нико — выстукивали колеса поезда. Надо было уехать с Нико, когда он предлагал. Законная любовь, незаконная — разве в этом дело? Любовь — вне закона. Подданство, гражданство, достоинство, честь — это все слова, которыми мать запутала ее, запугала. Она просто боялась остаться одна, не хотела никому уступить единственную дочь. «На такой шаг решаются раз в жизни, это испытание для него, если любит тебя — подождет». И она решила ждать разрешения на брак, писала каж-



дый месяц заявления и посылала в Москву. А сколько мог ждать он? Молодой, здоровый, темпераментный. Он так бурно и радостно встречал ее каждый раз, так обнимал и целовал, что ей становилось страшно. И тогда она поступила, как трусиха: уехала с компанией школьных друзей на море, в Батуми, благо мама денег не пожалела. Удрала, ничего ему не сказав. Они весело проводили время, загорели до шоколадного цвета, поклонников было — хоть отбавляй. Но она никого не принимала всерьез. Сердце ныло, она писала Нико покаянные письма, считала дни, оставшиеся до возвращения. На перроне Тбилисского вокзала искала его глазами — а вдруг встретит (накануне сообщила ему о приезде)? Но его не было. Уговорила ребят не провожать до дому, села в трамвай. И тут увидела Анзора, брата Нико.

— А, беглянка (видимо, он был в курсе всего), вернулась? Вовремя, как раз к свадьбе. Для Нико соседскую девушку сосватали!—Наверное, она так изменилась в лице, что он испугался. — Ты что, Карина? Я пошутил. Мать, правда, имеет на примете одну, но Нико — ни в какую.

Она не помнила, как дошла до дому, и тут дала волю слезам. Плакивала себя, свою первую и, может быть, последнюю любовь, всю так горько сложившуюся жизнь. Мать утешала ее как могла, пытаясь понять, что произошло. Но Карина не отвечала. Своей цели мать добилась, они с Нико расстались. Вечером пришел Нико, но она не захотела разговаривать с ним, передала через маму, что он может считать себя свободным. Больше они не встречались. Вплоть до той страшной февральской ночи, когда «черный ворон» привез их с матерью на Навтлугский вокзал. От кого он узнал, как прошел через оцепление, она не спросила. Нико нашел им место в вагоне, пристроил вещи. Конвойный торопил его, эшелон с минуты на минуту отправлялся в долгий путь. Стоя у подножки вагона, она последний раз смотрела в глаза любимого. Вдруг Нико резко схватил ее за плечи, притянул к себе. «Ты сама виновата. Ты все погубила своим упрямством!». Она отшатнулась, ей показалось, что он ударит ее. Слепшая и оглохшая, схватилась за поручни; конвойный втолкнул ее в вагон. Эшелон дернулся. Прощай!

Прощай! Какое безнадежное, какое холодное слово! Она почувствовала соленый вкус на губах. Только бы ничего не заметила мать! Она с детства приучилась плакать так, чтобы не было видно слез. Надо запрокинуть голову и всё. Матери хуже, чем ей. Она должна стать опорой матери. Они не пропадут, нет. Не пропадут, не пропадут, не пропадут.

Семнадцать дней пути, семнадцать дней унижения и боли, разговоров, споров, слез и молитв, и отчаяния, безнадежного отчаяния. Жидкая баланда, совместные «трапезы» с соседями по нарам, хлеб и сыр, обычная еда, которую каждый захватил из дома. Грузинский лаваш и имеретинский сыр, которые застревали в горле, — не видать им больше Грузии, не видать. Хотя бы скорее привезли, и узнать — куда. И вот — приехали. Казахстан. Какая-то станция, сплошь занесенная снегом, открытые грузовики, конвойные, которые грузят их, как скот, куда-то везут и вновь высаживают. Белый снег, черные фигуры оцепления, собаки, рвущиеся с поводков. «Врагов привезли». Перекличка. Одинокие — направо, семейные — налево. Незнакомая речь, узкоглазые смуглые люди — председатели колхозов, приехавшие за рабсилой. Отбор. Унижение, унижение, унижение. Ишоевы и Ильяевы, Бит-Варда и Абрамовы, Унановы, Карина и Роза, — в колхоз «Бирлик».

Утром того февральского дня, не застав никого дома и узнав от соседей, что произошло, Ефрем бросился на Навтлугский вокзал. Он попытался пройти сквозь оцепление — бесполезно, к эшелонам не пропускали. Туда привозили все новые и новые партии людей. Их выгружали на перрон и тут же загоняли в товарные вагоны. Плач, крик, душераздирающие вопли. Ефрем пробился на переходной мост. Как мухи, облепили его сотни людей. Они выкрикивали имена родных и близких, но разве те, внизу, могли услышать их или рассмотреть? Слухи, один чудовищнее другого, переходили из уст в уста. Ефрем не помнил, сколько времени пробыл на вокзале. Наконец эшелон, как насытившийся удав, дернулся (дрожь пробежала по вагонам) и потихоньку пополз. Все быстрее, быстрее, быстрее. Тысячеголосое «вай» взметнулось в воздух, облаком полетело вслед за ним, но не проникло внутрь — разбилось

о решетки и запоры. Ночью Ефрем не спал. Почерневший и осунувшийся, лежал он на голых пружинах кровати, не хотел никого видеть, слышать ничьих слов сочувствия. Наверное, скоро придет и его черед. Он и не собирался скрываться. Нана стояла перед глазами, почему-то в фате, в белом платье, такая, какой он увидел ее в день свадьбы. Конечно, какая там свадьба после войны. Но мать порылась в сундуках, сняла одну золотую монетку с головного украшения, которое носила в молодости, и заказала невестке кольцо. Гостей на свадьбе было немного, угощение скромное, но из ЗАГСа он привез невесту на фаэтоне. Во дворе был накрыт сладкий стол — фрукты, варенья, када, так полагалось по обычаю, чтобы жизнь молодых была сладкой. Знакомые музыканты заиграли на национальных инструментах, гости встали в круг, взявшись за руки и помахивая платочками, и невеста быстро освоила несколько движений свадебного танца. Потом танцевали «картули», «шалахо», включили патефон. Гости разгулялись и еле-еле отпустили молодых спать. Утром мать перестелила им постель и принесла Нане в кровать хасыйда — сладкую еду из муки и виноградного сока. Хоть и не очень желала она этой свадьбы, а сделала все по-людски, согласно обычаям. Послали фаэтон за родителями Наны, пили за их здоровье и благодарили, что воспитали они честную, хорошую девушку. Пять лет они прожили вместе, ссорились иногда, но мать всегда вставала на сторону невестки, и он уступал. Мудрая старуха. Где они сейчас, что с ними? А вдруг их отправили на север, в лагерь? Дочка, маленькая Арбела, уже ссыльная... Он меньше беспокоился за жену и мать — взрослые люди, они выдержат все. А если детей отберут и отдадут в детдома? Он знал таких несчастных. Они были похожи на одичавших кошек, выброшенных хозяевами, — всегда настороженные, будто в ожидании удара, вечно голодные. Он застонал от душевной боли. Арбела, его девочка. Жить, где угодно, только вместе с ней! Наутро Ефрем сам явился в НКВД. В списках на выселение его не было. Но ему сказали, где их искать! Наверное, в первый раз из этого учреждения кто-то выходил, улыбаясь. Их не отправили в лагерь! Он продал кое-какие вещи и поехал на розыски.

Помнится, добрался до колхоза «Бирлик», где, по сведениям комендатуры, помещалась его семья. Холод, грязь по колено, избушки, крытые соломой, Арбела, закутанная в шаль, играет с детьми. Ханэ с соседкой кизяки собирают, печку топить, а Наны нет. И никто толком рассказать не может, что произошло в пути, и названия станции не запомнили. А дальше все — словно в угаре. Куда ходил, где узнавал, как попал в тот аул, где Нану выходили... Очнулся в глинобитном домишке, сидят все на полу, на кошмах, ноги под себя упрятали, самовар стоит, и старая казашка, вся в белом, подает ему пиалу с чаем. А напротив, на тюфяке — Нана, худая, бледная, силится улыбнуться, а у самой слезы по щекам. Чем тех людей отблагодарить, что для них сделать? Тут и слов не найдешь, чтобы высказать, да они по глазам все поняли. А старуха — вот чудачка — сует ему деньги: «Я барашка не резал, тебя бешбармак не кормил, водка не поил, возьми рубль». Господи, да он бы для них... Сейчас вспоминает, и то в горле комок. Сидя на маленькой скамеечке перед домом, Ефрем зашивал порванные детские сандалики. Нана еще слаба, надо показать ее врачу, а тут только фельдшер. Болезнь приходит бегом, а уходит медленным шагом. Хорошо бы свозить ее в Алма-Ату, а нельзя, запрещено. Но жизнь налаживается. Он сумел устроиться шофером в поселке Чилик, разрешили забрать из колхоза семью. И то сказать, какой толк от старухи в колхозе? Сняли комнату у стариков-дунган. Хорошие люди, в Грузии о такой нации и не слышали. Нану научили свои блюда готовить, дунганская лапша — объедение. Налаживается жизнь. Правду говорят: пока горя не увидишь, счастья не поймешь. Нана готовит на кухне ужин, мать во дворе чистит песком медную кастрюлю. Арбела с соседским мальчиком трясут яблоню. Молодежь приободрилась, сейчас хотят свой ансамбль организовать (в комендатуре сказали — агитбригаду), будут ездить по колхозам, давать концерты. В Чилике есть радио, передают новости из Москвы. Москва... Сколько писем туда послано. Добраться бы самому! Узнать — почему с ними так? По чьему злому навету?

Поужинав, Ефрем долго сидел в саду, курил. Мать вынесла чашки, принесла большой старый чайник —

значит, сейчас придет рабий, Ишу. Ханэ с Ишу были из Салмаса, из одной деревни, а это у ассирийцев равносильно родству. Она не знала, что Ишу ехал в том же эшелоне, они встретились только в Чилике. Сейчас жили по соседству. Ханэ относилась к нему как к младшему брату. Еще в Иране он учился в школе — медресе, мечтал стать врачом. Война отняла у него дом, родителей, брата и выбросила зимой пятнадцатого года с тысячами таких же измученных и голодных сначала в Джульфу, а потом на улицы Тбилиси. Жить было негде да и не на что. Нашлись родственники, приютили на время. Вместе с ними он решился вернуться назад в Иран, в Урмию. И опять резня, восемнадцатого года, опять бегство и твердое решение никогда больше не возвращаться на родину предков, остаться в Закавказье. И еще одно решил он — никогда не обзаводиться семьей. Сколько женщин, обесчещенных, черных от горя, с умирающими детьми на руках видел он на проклятой дороге Джульфа — Тавриз. Нет, он не хотел своим детям такой участи. Ассирийская община не дала ему пропасть, он выучился малярничать, поступил учиться на рабфак. В Тбилиси стала выходить газета на их родном языке, интеллигенция объединилась в общество «Хайядта». Была надежда на возрождение нации под советским флагом. Но вскоре этот флаг стал пропитываться кровью соотечественников. Ишу уехал в Армению, в Арзни, где врагов выскивали не так рьяно, а в 41-ом ушел добровольцем на фронт. Половина ушедших с ним ассирийцев осталась на полях второй мировой. А ему повезло, он вернулся живой, при орденах. Свахи зачастили к нему — столько невест вокруг, неужели ему никто не по душе? Он отшучивался: голодной курице просо снится, может, они сами хотят за него замуж? Но одиночество уже страшило, хотелось пригреть кого-нибудь, слышать дома детский голос. Он стал приглядываться к жене своего друга — вернее, не к жене уже, а к вдове, тот погиб в самом конце войны, оставив маленького Гиву. Но она внезапно умерла от скоротечной чахотки — какое питание после войны и откуда лекарства? Родных у них не было, он забрал мальчика к себе, а потом решил уехать с ним в Тбилиси, подальше от людских пересудов. Прожили они

там три года, и на тебе — выселение. Под стук колес было время подумать и о своей судьбе, и о судьбе нации. Как слепой смотрит на Бога, так и Бог смотрит на слепого. Бог давно отвернулся от них. Они приняли христианство из рук апостолов Фомы и Фаддея, донесли его до Китая. Всегда поддерживали христианские государства, находясь в окружении мусульманских. С девятнадцатого века связывали с этими государствами мечту о национальном возрождении. Сначала Россия, а потом Англия обещали им это, даже в Лиге наций решался их вопрос. И что же? Привели к роднику, а напиться не дали. Ассирийские батальоны воевали на стороне России против Турции, охраняли для англичан иракскую нефть. И зачем? Их руками загребали жар, а потом в огне погромов гибли их жены и дети. Сколько их осталось на земле? Тысячи? Миллион? Рассеяны по всему свету, разобщены. Но для чего-то рождены они на этот свет? Не может быть, чтобы у них не было будущего. Им надо сохранить свой язык, свои обычаи, не дать поглотить себя другим народам, не ассимилироваться. А там — пути Господни неисповедимы. Один раз солнце и ад осветит.

Арбела первая увидела Ишу: «Дедушка пришел!» (дети называли его дедушкой, хотя по возрасту он мог быть и отцом).

— Арбела, доченька, — он поцеловал девочку, подхватил на руки мальчика, — Гиву, сынок, ты спать не собираешься?

— Нет, не хочу. Можно, я еще поиграю?

— Иди, Ишу, садись, — пригласила его Ханэ. — Кушать будешь?

— Нет, спасибо. А чаю налейте. Мы тоже, как казахи, с молоком попьем.

Они пили чай и вели неторопливую беседу. Ефрем слышал знакомые с детства имена, названия: Мэр-Шимун Беньямин, Симко, деревня Кочанис. Их недавняя история, детство его матери; история убийства курдским шейхом Симко ассирийского патриарха Беньямина. Ему все это казалось таким далеким, почти нереальным, а Арбеле и Гиву — вовсе сказкой. Как-нибудь надо записать эти истории. Жаль, что он не знает ассирийской письменности, в его детстве это не поощрялось. Он как-то видел у Ишу газету тридцатых

годов «Звезда Востока». Ничего особенного, переводы из «Правды» и грузинских газет на ассирийский. Но и эту прикрыли, а из редакции в живых не оставили никого. Ишу прав, свой язык надо знать. Вот он говорит, что собирается зимой учить молодежь читать и писать на родном языке.

— Дедушка, а меня научишь? — Гиву залез к нему на колени.

— А как же. Вырастешь, кончишь университет и прочтешь наши древние книги, те, которые еще по приказу Ашшурбанипала собирали.

— А это кто?

— Это был очень умный человек, царь, и жил давно-давно, когда многих наций еще и на свете не было.

— А разве тогда были книги?

— Были, и дети учились в школах, и был университет, первый в мире университет. А потом пришли враги и разрушили Ниневию, нашу древнюю столицу. Сгорели и дворцы, и храмы, и высокие башни — библиотеки. А сами книги остались, потому что они были из глины, а не из бумаги. Через много-много веков англичане и французы откопали Ниневию и увезли все книги к себе. Там про все написано, про все... Когда я был маленький, мы с братом бегали смотреть на развалины Ниневии. А брат был такой, как ты сейчас. Я брал его на спину, потому что горячая глина жгла ноги и он плакал. А потом, в четырнадцатом году, когда мы бежали от турецкой резни, брат умер в дороге. Вот как мама твоя умерла, царство ей небесное...

— Не расстраивай ребенка, Ишу. — Ханэ погладила мальчика по голове. — Идите спать, дети. Уже поздно.

Холодным дождливым осенним днем Карина шла по дороге из колхоза в райцентр, в комендатуру. Одета она была кое-как, попутные машины не попадались, но настроение у нее было хорошее — кажется, их колхозным мучениям приходит конец. Местные власти наконец поняли, что высланных выгоднее использовать по специальности. Для Розы, знающей бухгалтерское дело, и Карины, закончившей фельдшерские курсы, нашлась работа в Иссыке, зеленом красивом поселке не-

далеко от Алма-Аты. Но все решалось в спецкомендатуре, без специального разрешения покинуть колхоз запрещалось. В Иссык она пришла насквозь промокшей. В окне комендатуры горел свет. Она постучала. Жена коменданта вышла на крыльцо: «Он обедает, у него перерыв», — и захлопнула дверь. Карина осталась стоять под дождем. И простояла так четыре часа. Бесправие и унижение, преследовавшие ее всю жизнь, казалось, дошли до последней черты, захлестнули петлей. Кто она этому служаке — спецпереселенка, женщина без всяких прав, иностранка в собственной стране, иностранка не по своей воле, не по воле родителей. Это все время ставилось ей в вину, за это надо было расплачиваться всей жизнью. Казалось, вечность прошла, пока хлопнула дверь и ей велели войти. Она вошла молча, стиснув зубы, сжав кулаки. Но когда заветная бумага оказалась у нее в руках, Карина высказала коменданту все, что о нем думала. Он выталкивал ее за дверь, а она все повторяла: «Негодяй, негодяй, негодяй!». Кто-то настойчиво потянул ее за руку, обнял за плечи, накинул на мокрую голову платок.

— Иди, кыз, пойдём. Болды, болды, хватит.

Девушка лет пятнадцати в азиатских галошах на босу ногу... Сколько участия и сострадания было в ее раскосых карих глазах.

— Шайтан, ой бай, шайтан, — махнула она в сторону комендатуры и, показав на небольшой домик напротив, еще раз позвала: — Пойдем, кыз, Айгуль иди.

Карина уткнулась в доброе плечо, и, постепенно успокаиваясь, пошла вслед за девушкой. В доме оказалось несколько комнат, почти пустых. Вдоль стен горой лежали тюфяки, разноцветные подушки. Высокая, крепкая казашка лет тридцати пяти внесла самовар, поставила на низенький стол пиалы, лепешки, молоко. Сняв с себя черный плюшевый жакет, закутала в него Карину, усадила на маленькую скамеечку у стола. Айгуль устроилась на кошме, поджав под себя ноги, и что-то рассказывала матери по-своему, кивая в сторону Карины. И Карине захотелось рассказать им о себе. Мешая русские и казахские слова, жестикулируя, они вели сбивчивый разговор. Но без угощения, говорят казахи, не бывает беседы. Карина выпила несколько пиал чая с молоком, съела лепешку. Ее раз-

морило, глаза слипались. Но надо было возвращаться, дома волновалась мать. Возвращаться по той же грязной, размокшей дороге. Хорошо еще дождь прекратился. Они вышли втроем на улицу и вдруг увидели приближающуюся полуторку.

— Ата, ата, — закричала Айгуль и призывно замахала руками. «Отец? — про себя удивилась Карина, — они говорили, что на фронте погиб». А потом поняла. У них что ни родственник, то отец. Хорошие люди. Она залезла в кабину, впервые за этот день улыбаясь. Недаром казахи говорят: печаль проходит, когда ее выскажут, грязь — когда смоют.

Прошло полгода.

Ефрем гнал газик на предельной скорости. Хотя хозяин и разрешал иногда пользоваться машиной, но всякой доброте есть предел, да и милиционер может попасться, спросит, куда и откуда в такое время. А ехал он из Чилика в Иссык. На заднем сидении дребезжали казаны и кастрюли — в спешке не дал матери уложить все как следует, и Арбела мешала, цеплялась за отца, просила забрать с собой, к маме. Уже совсем стемнело, когда он подъехал к дому, где они снимали комнату. Нана вышла навстречу, стала спрашивать, как дочь, как свекровь. Вытаскивая из машины вещи, Ефрем рассказывал, что там все в порядке, мать насадила огород и теперь, пока все не соберет, и переезжать не хочет. Но с переездом вообще не так просто, у них-то советские паспорта, а у матери — иранский, надо идти в комендатуру, хлопотать. Хотя начальник, которого он возит, обещал помочь. А Арбела целый день на воздухе, в саду.

Нана накрыла на стол во дворе, позвала соседей. Те жили вдвоем, отец и дочь. Мать осталась в Тбилиси, ее не было в списках на выселение. Хотя и дочери не было. Сима сама убирала в комнате, ходила в магазин. Готовила она пока неумело, и Нана часто приглашала их к столу.

— А, вот и наша Шамыйрам, — улыбнулся ей навстречу Ефрем. — А Беник где?

— Папа сейчас придет, — девочка присела на край скамейки. — А я сегодня картошку пожарила, очень вкусно получилось, и не подгорела совсем. Хотите, принесу?

— Молодец, — похвалила ее Нана, — оставь картошку на утро. А Ефрем пусть голубцы ест, я зря готовила, что ли?

Беник пришел со своим «Беломором», неразговорчивый, худой. Он работал на строительстве прорабом, очень уставал.

— Вот, — он показал Ефрему сберкнижку. — Сегодня завел. Начал откладывать Симе на рояль.

— Куда ж вы его поставите? — удивилась Нана, — вы сами еле-еле помещаетесь.

— Мне в конторе обещали домик дать, барачного типа. Отделаю его, утеплю. Да и пока я еще на рояль накоплю, — он безнадежно махнул рукой.

— Накопишь. Ну на худой конец, — на пианино. — улыбнулся Ефрем. — Поставим его здесь в саду, чтобы всей улицей концерты слушать. Что, Семирамида, будешь нам концерты давать?

Она резко отвернулась, чуть слезы из глаз не брызнули. Рояль, концерты, родной город — как далеко все это. Мать с отцом пылинки с нее сдували: «Береги руки». Она посмотрела на свои загрубевшие пальцы. Думала ли она, что когда-нибудь вот этими руками будет лепить кизяки? Или сгребать с себя горсти вшей? А ее одноклассники... Они казались ей сейчас детьми в сравнении с ней, с ее взрослой тяжелой жизнью. Она редко плакала. И тогда, в вагоне, сидела в углу, окаменев.

Стемнело, когда они разошлись. Беник долго не мог уснуть, лежал с открытыми глазами, думал, вспоминал. Утром он проснулся поздно. Было воскресенье. Сима уже вскипятила чай. Примостившись у подоконника, она что-то писала. Он вышел во двор, не спеша умылся, так же не спеша поел вчерашней картошки, выпил чаю. Неужели она пишет матери? От Ани пришло два письма. На второе он ответил, дочь оставалась непреклонной.

— Сима, ты кому пишешь?

— В Москву, Сталину.

— Ты что, Сима?..

— Он должен знать, что с нами сделали. Ведь он не знает?

Отец молчал.

— Не надо туда писать, Сима. С жизнью нельзя

воевать, это бесполезно. Надо заключить перемирие и жить...

— А я не желаю мириться с мыслью, что гонение на нас справедливо. Нет, нет и нет! Тут жестокая и грубая ошибка. Правда и справедливость есть! Есть, будет, придет! — выкрикнула она сквозь слезы.

Он прижал ее к себе, гладил по лицу, целовал в голову.

— Не плачь, дочка, не плачь. Ты же крепкая девочка.

— Папа, но за что же нас выслали?

— Наши предки из Ирана, Сима...

— Но мы-то советские граждане. А сын за отца не отвечает.

— Есть у нас одна притча, Сима. Одного человека ударили в живот, а он схватился за поясницу и кричит: «Ой, спина!». Его спрашивают: «Ведь тебя в живот ударили, что же ты хватаешься за спину?». Он ответил: «Была бы у меня «спина», меня никто не посмел бы ударить в живот». Такая уже участь малых народностей, у нас нет спины. Ископаемая нация...

— При чем здесь эта история?

— Ты еще многого не понимаешь, девочка. Да и я сам, к сожалению, не все понимаю. Пойду, помогу Ефрему комнату побелить.

Они работали до обеда. Сима тоже пришла, вымыла после побелки окно, пол. Нана приготовила дунганскую лапшу, позвала всех к столу.

— Ну вот, — усмехнулся Ефрем, — не приехали бы в Казахстан, никогда бы так вкусно не научилась готовить.

— Эх, лучше бы я дома черный хлеб ела, чем здесь — эту лапшу, — вздохнула Нана.

Сима, до того молчавшая, подняла глаза от тарелки.

— Дядя Ефрем, а почему у них ни винограда в саду нет, ни инжира? Только яблоки.

— Не сажают, наверное. А лето здесь теплое, как в Тбилиси. А что, инжира захотелось?

— Я любила спать под инжировым деревом, мама... — тут она будто споткнулась и закончила, понизив голос, — сердилась, когда инжирины лопались и пачкали постель.

— А у нас во дворе в Тбилиси беседка, вся увитая виноградом, — рассказывал Ефрем.— Я помню, мы с братом летом приходем с танцев, перелезем через забор и в беседку — спать. Лежим ночью и виноград пощипываем. А мать утром ругается: зачем вы все кисти портите? Ели бы какую-нибудь одну, не жалко. Она на зиму все лучшие кисти в марлевые мешочки зашивала и срезала только к Новому году.

— Люди, — вдруг перешла на грузинский Нана, — было ли это все с нами? Может, это был сон? Мне кажется, я всю жизнь здесь живу. И никогда не увижу Тбилиси, Мтквари, Мтацминду... Гмерто, шени чириме, гвишвеле!¹ — она неожиданно разрыдалась.

Зима пятьдесят шестого года ничем не отличалась от других зим в Казахстане, но для Розы она была особенной: Новый год они с дочерью собирались встречать в Алма-Ате. Заканчивался шестой год их жизни в изгнании, за что, за какие грехи, никто до сих пор не ответил. Официальная версия — «как подданных Ирана» — тоже ничего не объясняла, так как ни по каким законам в мирное время их, не совершивших никаких преступлений, высылать было нельзя. Уже умер Сталин, уже был объявлен врагом народа и расстрелян Берия, а дверь в прежнюю жизнь так и была крепко-накрепко заперта для них и десятков тысяч людей «особым совещанием». Но вдруг заржавевшие засовы отодвинулись: указ 56-го года снял со «спецпереселенцев» административный надзор, и им разрешалось свободное передвижение по Казахстану. И еще одна радость: Роза с Кариной получили советские паспорта. Не одно и не два, а десятки заявлений послали они в Москву, прося избавить их, рожденных в Грузии, от иранского подданства. И вот наконец-то! Карина бурно ликовала: «Наше вторичное появление на свет, наш день рождения! Теперь мы свободны!». Но мать не разделяла ее восторга: надо было столько выстрадать, принести столько жертв, чтобы получить долгожданный паспорт? Ведь они те же, с теми же мыслями и идеалами, что и раньше.

Маленький коллектив Иссыкской бухгалтерии, где

¹ Господи, помоги! (груз.).

работала Роза, все эти годы деятельно хлопотал за них: писались характеристики и рассылались по разным инстанциям, заполнялись многочисленные анкеты. Так что это была и их победа. По этому случаю решили устроить вечеринку и «обмыть» новые паспорта. Вечер прошел хорошо, но было немного грустно: все понимали, что теперь Роза недолго останется в Иссыке. И в самом деле, вскоре Роза с дочерью сняли комнату в маленьком домике в центре города, с окнами в общий двор. Деревянная будка уборной, вытянутые в ряд несколько строений барачного типа, крытые где соломой, где шифером, где железом — все это было занесено снегом. В доме жило несколько семей: большая, шумная семья уйгуров, выходцев из Китая, мать с дочерью, эвакуированные еще из блокадного Ленинграда, старый холостяк рабий Ишу и его приемный сын Гивик, мальчик лет тринадцати. Карина быстро перезнакомилась со всеми, и Новый год они встречали в пестрой компании соседей. Молодежь веселилась до утра; пили шампанское, танцевали, дурачились у елки, говорили о предстоящем в Москве фестивале. Роза с Ишу, смутно помнившие друг друга, разговорились, и тоже просидели до утра. Им не хотелось вспоминать дни унижений, страданий, они говорили о Тбилиси. Выяснили, что оба жили когда-то в Нахаловке и даже ездили на одном трамвае.

Через несколько дней Карина дежурила на «скорой». Она уже освоилась на новом месте, работа нравилась ей. Персонала не хватало, и часто ее посылали к больным одну, без врача.

Этот вызов был вечером, ехать пришлось куда-то на окраину города. Шофер долго кружил, пока наконец нашел нужную улицу. Войдя во двор, Карина удивилась, увидев здесь Ишу и других переселенцев. Ишу провел ее в комнату.

— Это Беник Вардоев. Получил вчера телеграмму, что жена умерла в Тбилиси. С тех пор не встает. А сегодня говорит, что рука и нога немеет, левая. Я хотел пиявки поставить, да дочка — ни в какую.

Беник лежал на чисто застеленной кровати, небритый, худой. Дочь сидела рядом на стуле, отрешенно смотрела в окно. Карина огляделась: большая, светлая комната, пианино у стены — рай в сравнении с их

маленькой убогой комнатухой. Она поставила чемоданчик на стол.

— Где можно вымыть руки?

Сима встала, отвела ее на кухню. Поставив кипятить шприц, Карина пощупала Бенику пульс, измерила давление. Пиявки действительно не помешали бы. Она сделала все, что смогла, давление снизилось. Предложила:


— Может, в больницу поедем? Ведь ночью опять может подскочить. К ее удивлению, Беник согласился и даже с каким-то облегчением. Ишу объяснил потом, что из-за дочери. Дочь не разрешила матери приехать в Алма-Ату, не ответила ни на одно ее письмо. И вот Анна умерла. Конечно, в свое время она смалодушничала, испугалась ссылки, но ее можно было простить...

Часто, придя с работы, Роза не заставала дома дочь — несмотря на холод, в легоньких туфельках и тоненьких чулочках она с подругами бегала по театрам и кино. Роза знала, что она встречается с шофером «скорой помощи», бывает с ним на танцах. «Ничего серьезного», — как-то сказала Карина матери, и та успокоилась. Прошел январь, февраль, потеплело, потекли первые ручьи. На душе у Розы стало смутно, тревожно. Она не любила казахстанских весен. Запах тающего снега будоражил ее, напоминал, что ей еще не так много лет. А тут еще Ишу зачастил к ним вечерами. На 8 Марта принес ей дорогие духи «Голубой ларец». Он был старше лет на десять, высокий, крепкий мужчина с еще пышной, седеющей шевелюрой. Работал ольфрейщиком, расписывал клубы, фойе кинотеатров, зарабатывал хорошо. Приучал к своему делу сына, такая работа — везде верный кусок хлеба. Был по-своему образован, читал тяжелые старинные книги в черных переплетах на староассирийском языке. Уверял, что рецептами из этих книг может вылечить от многих болезней, и однажды действительно «заговорил» Розе зубную боль. Но сам он почему-то раздражал ее, вызывал неприязнь. Она поила его чаем, вела разговоры о том о сем. Но все его попытки вызвать ее на откровенность, излить ему душу натыкались на ее молчаливый отпор. Сердце не скатерть, перед всяким не расстелешь.

К майским праздникам Розу наградили почетной грамотой; на ней впервые не было портрета Сталина. Уже прошел XX съезд, громко заговорили о невинно репрессированных, но еще никто не знал страшных цифр. Из разговоров, ходивших вокруг, становилось ясно, что их выселение — еще не самое страшное, что было в стране. Но каждому человеку причиняет боль свое горе. Время шло, дышать в стране становилось все легче. Высланным разрешили свободный выезд из Казахстана. Но словно в насмешку в любой город страны, кроме прежнего местожительства. Однако первая ласточка, упорхнувшая отсюда, сумела обойти запрет: подруга Карины Аня поехала в отпуск и осталась в Тбилиси, выйдя там замуж. Все были и рады за девушку, и завидовали ей. Но главное — появилась надежда, что возврат на родину возможен.

Осенью Ишу сказал Розе, что решился на отъезд. Хоть на старости лет он хочет иметь настоящую семью, жить среди своих, на Кавказе. Он намекал, что лучше бы им уехать вместе, но Роза сделала вид, что не поняла: «Мы свою жизнь прожили, надо думать о молодых». Она помогла им собраться в дорогу. Вещей было немного, зато провожающих собралось столько, что на перроне стало тесно. Все тащили им сетки с апортом, в купе пахло яблоками, как в саду. Пришли и Нана с Ефремом, давние знакомые Ишу. Они пока не собирались уезжать на родину. Да и куда ехать? Где жить большой семьей? В их доме — чужие люди, их на улицу не выгонишь. Настала минута прощания. Ишу сжал руку Розы: «Как устроюсь, приеду за вами».

В октябре запустили первый искусственный спутник, в ноябре — второй. Кончался международный геофизический год. На поздравительных открытках Новый год мчался вокруг земли на ракете. В январе пятьдесят восьмого Ишу прислал письмо. «Роза-джан, — писал он, — мы устроились в Рустави, а это совсем рядом с Тбилиси, туда ходят электрички. Я писал письма в Верховный Совет, генеральному прокурору. Рустави — молодой город, тихий. Для людей строят много домов, поэтому я сразу устроился на работу, и мне скоро обещали дать комнату. Гиву все время говорит: если бы тетя Роза жила рядом с нами, как в Алма-Ате, как бы я радовался». Через два месяца пришло



еще письмо. «Приезжайте, — писал Ишу, — к лету у нас будет свой угол. Пока поживете у нас, начнете хлопотать. Может, вам вернут квартиру. Есть надежда, что Гиву дадут справку о реабилитации, в момент выселения он был несовершеннолетний. А это значит, ему разрешат жить в Тбилиси». После этого письма Роза потеряла покой. Тбилиси, родной город, звал и манил. Что ждет их там, на родине? Куда им ехать к разбитому корыту... Друзья и знакомые советовали подождать, не уезжать пока. Но и Карина не хотела оставаться в Алма-Ате. Что нам трудности, мы теперь закаленные! Ей не терпелось увидеть своих подруг, пройтись по проспекту Руставели. Ведь это теперь возможно! «Не надо тянуть, — решила Роза. — В мае увольняемся и едем».

Наконец прошел последний перед отъездом день. Завтра они сядут в поезд — и все, прощай, Казахстан. Неужели кончились их мучения, их скитания и они опять увидят Тбилиси?

Скорый поезд «Алма-Ата — Москва» все ближе и ближе подходил к столице. Стояло жаркое лето, на станциях пассажиры покупали малину и смородину, черешни и вишни, пахучие яблоки. Казалось, все заняты одним — едой. В четырехместном купе Роза с Кариной и Сима Вардоева играли в карты. Они оказались в одном купе случайно, Сима ехала на каникулы в Москву, а Розе с Кариной надо было ехать дальше, в Тбилиси.

Последнюю ночь почти не спали. Замелькали родные названия: Самтредиа, Хашури, Гори. Приехали в Навтлуги. Роза вышла в коридор, Карина стала рядом, обняла ее за плечи. Все произошло на этом месте. Солдаты с автоматами, вагоны с зарешеченными окнами, люди, гомон толпы, крики, плач. Узлы, чемоданы, тюки — кто что успел захватить с собой. Поезд поехал и сразу: «Станция Тбилиси». Зачем мы вернулись? К кому, к чему? К разбитому корыту? Знакомый перрон, толпы встречающих. Вон они бегут к их вагону, весь их двор. Мама, мама! Без обмороков, ты что! Вдруг перед глазами та ночь — мать на полу, военный отпаивает ее водой, узлы посредине комнаты. И соседи — кто с чем, суют все в кошелки, связывают: теплые вещи, лобио, сыр — все вперемешку. Потом от-

дельный узелок — тут деньги, от всех, от всего двора, связали крест-накрест. Все пригодится. Господь с вами. Будем молиться. На всех языках будем молиться. Мужайтесь. Не пропадете. Все. Остановился поезд. Постаревшие и повзрослевшие. Дети выросли. Не помню, кто — чей. Но — чужие. Они те же, а мы другие. Мы из другой жизни. Расхватили вещи и через переходной мост — на трамвай. Две остановки — и вот родная улица. Овраг. Дом. Двор. На весь двор накрытый стол — ждали, готовились. Спасибо. У кого вещи — Бог знает. Не ходите в свою комнату, не ходите. Там живут. Нет, чужие. Разве кто-нибудь из нас вошел бы туда? Ладно. Это потом. Умоемся с дороги. Новый крап в дворе. Беседка! Красиво. А стены старые. Те же старые стены.

Не откладывая в долгий ящик, — погостив день-другой, Роза с Кариной поехали в Рустави, к Ишу узнать, как у него продвигаются дела, посоветоваться, что делать им. Он только что закончил ремонт своей комнаты, но жить там пока не собирался — хлопотал за Гиву. Ходил то в суд, то в прокуратуру, добывал справки. Гиву (его уже звали на грузинский манер — Гиви) готовился поступать в техникум, жил у крестных в Сабуртало. В Рустави им понравилось. Дома тут строили небольшие, в форме коттеджей. Во дворах стояли беседки, увитые виноградом. Розу не пришлось долго уговаривать, чтобы она перевезла вещи из Тбилиси. Карина видела, насколько тяжело ей, словно посторонней, проходить каждый раз мимо своей квартиры, которую занимал теперь полковник с женой. Видно, не совсем верна пословица: кто чужой ложкой плов ест — себе рот обожжет.

Они тоже стали хлопотать, писать заявления, ходить на приемы. Ответ не заставил себя долго ждать (не то что в былые времена): Зато сказали, как топором отрубили: «Ваше переселение как бывших ирано-подданных было правильным. Жить в городе Тбилиси вам нельзя». Роза не сдавалась, она написала письмо в Верховный Совет. Разве они, советские граждане, не имеют права жить в том городе, где родились? Справедливо ли это в нашей стране — стране подлинной демократии? Письмо вернулось с резолюцией «переда-

но в прокуратуру ГССР». Ну, а оттуда — известный ответ.

Иного выхода не было. Они прописались в Рустави, устроились на работу. Постепенно стали привыкать к здешней жизни. По воскресеньям ездили в Тбилиси, ходили в гости к родственникам, к знакомым. И только одного человека Карина боялась встретить: Нико. Но ей хотелось узнать, что с ним, как живет, женат или нет. Как-то она решилась и поехала в воскресенье к Зое, своей однокласснице, жившей раньше в том же дворе, что и Нико. Ей открыл дверь Сандро, Зоин муж.

— Карина! Так это же наша Карина! Заходи, дорогая, заходи. Какими судьбами? Сколько лет! — Он завел ее в комнату. Из-за стола поднялись двое мужчин. Это был Авдей, которого она смутно помнила, и Анзор, брат Нико. Кровь прихлынула к сердцу. Вот так встреча!

— А Анзор меня не узнает, наверное?

— Узнал, по глазам. Ты очень изменилась, Карина.

Мужчины захлопотали вокруг стола.

— Ты сиди, Карина, ты наша гостья, — сказал Сандро, — мы быстро все организуем. Сейчас долму разогреем, Зоя оставила. Я вчера отвез ее с детьми в Манглиси. Хочешь, завтра туда поедем?

— Нет, мне утром на работу. Мы с мамой в Рустави живем.

— Значит, вернулись. Слава Богу. Так в каком году вас выслали?

— Пятидесятом, 14-го февраля. — Отвечая Сандро, она смотрела на Анзора. У нее было такое чувство, что они едут в том трамвае, и он... он издевается над ней. Он и сейчас рад, что они с Нико расстались!

— Я помню этот день, — сказал Анзор, — Нико целые сутки дома не было, мать чуть с ума не сошла. А потом приходит, говорит: «Карину увезли». А за что, куда? Нам ничего не удалось выяснить.

— А что, если б удалось, за нами бы поехали? — Карине хотелось уязвить Анзора, сделать ему больно. Как будто он один был виновником ее бед...

Все замолчали; разговор не клеился.

— Анзор, достань вино и пиво из холодильника,

— попытался разрядить обстановку Сандро. — Авдей, ты мастер по художественному оформлению. Аба, вот тебе зелень, перец, помидоры. Действуй. А как там жизнь в Казахстане? — обратился он к Карине, — люди какие, как к вам относились?

— Жизнь там дешевле, чем здесь. А люди, как и везде, — разные. Казахи — добрый народ, последним с нами делились. Алма-Ата — город-красавец, не хуже Тбилиси. Мы там весело жили. Организовали свой ансамбль, ездили по колхозам, концерты давали. Даже «Хануму» поставили.

— Ну вот, Карина, а ты обижаешься, — неловко усмехнулся Анзор.

— Не надо, Анзор. Мы-то на ноги встали. Кто работает, нигде с голоду не умрет. Только зачем нам этот Казахстан? Что мы там потеряли? Наша родина здесь, здесь мой дед похоронен, а за его могилой и посмотреть некому. Думаешь, легко было отсюда уезжать? Ведь нас в вагонах для скота везли. Февраль, мороз... Там, в колхозе, в землянках жили. Каждый день надо было ходить в комендатуру отмечаться, утром и вечером. Это так унижало!

— Да, досталось вам, — Сандро разлил по стаканам вино. — Знаешь, Карина, у каждого человека в жизни свое горе. Ну, ничего. Наши враги в земле лежат, а мы вот — живы-здоровы. Пусть у вас в жизни теперь будет только хорошее. Живите, радуйтесь. Твое здоровье, дорогая! Будь всегда такой же красивой, умной.

— Спасибо, Сандро.

— А знаешь, Карина, — Анзор поставил свой стакан, — после демобилизации Нико уехал в Сухуми, женился там. У него двое детей. Первую девочку твоим именем назвал.

Она отвернулась, в глазах — слезы. И зачем он только сказал!

— Карина, ну что ты, Карина, не расстраивайся. — Сандро обнял ее за плечи. — Как людям жизнь поломали! И главное — ни за что.

— Я пойду, Сандро, ты извини. — Она встала, взяла сумочку.

— Подожди, Карина, Авдей на машине, он тебя отвезет.

Несмотря на ее просьбу ехать на вокзал, к элект-
ричке, Авдей повез ее в Рустави. По дороге она мол-
чала, ей было стыдно перед чужим человеком за свои
недавние слезы. Он довез ее до дома; было уже поздно
и на ее приглашение зайти к ним ответил отказом. Но
неожиданно приехал через несколько дней. Нашел ка-
кой-то предлог, познакомился с матерью, с Ишу (тот
наезжал в Рустави днем, а жил у родственников в
Тбилиси). Карина не знала, что и подумать. Они и так
в достаточно неопределенном положении, живут в чу-
жом доме. Мать решила поговорить с дочерью: Авдей
серьезный мужчина, самостоятельный. Видно, она нра-
вится ему, раз приезжает. Но он-то совсем не нравит-
ся ей! А кто нравится? Никто? Так ведь ей за три-
дцать, надо думать о семье, детях. Надо решиться.
«Слушай, мама, — сказала Карина, — может, ты са-
ма хочешь замуж, а я тебе мешаю? Скажи откровен-
но». Мать обиделась, заплакала. Карина потом упрека-
ла себя за эти слова. Розе тоже хочется обыкновенно-
го человеческого счастья. Их все не реабилитируют,
они по-прежнему в чем-то виноваты. Имели иранский
паспорт — были подданные Ирана, получили совет-
ский — опять бывшие ираноподданные. Какой-то за-
колдованный круг. Кто им поможет разорвать его, об-
рести свободу?

Время, только время могло помочь им. Но оно, так
стремительно бежавшее, вдруг споткнулось, словно ис-
пугавшись своей смелости, и замерло на месте. Но они
верили — человек живет надеждой. Когда-нибудь и
они обретут свободу. Жизнь впереди! Впереди! Впере-
ди!



* * *

У Китайской стены, далеко-далеко
Проживает Су Ли, а по мне Сулико.
Где — Кавказские горы, где — эта стена,
Без нее я один и она там одна.
Вот сижу в ресторане и дую коньяк,
Ну конечно, пижон и к тому же маньяк...
Вдруг в табачном дыму—золотистой пыли
У стола моего появляется Ли.
Я за руку ее, чтоб уйти не смогла,
И в душе вспыхнул свет и рассеялась мгла.
Пусть на улице дождь и все серо в окне,
Китаяночка Ли улыбается мне.
Там, наверное, ночь, тут, наверное, пять...
Если я хоть немножко в душе телепат,
Ей сегодня приснятся чудесные сны...
Далеко-далеко у Китайской стены.

* * *

Дует ветер с моря
И качает люстру...
И не то, чтоб горе,
Просто очень грустно.
Залетела муха
И на рюмку села.
И не то, чтоб скука,
Просто очень серо.
Все, что было-стало,
Унеслось вприпрыжку...
И не то, чтоб старость,
Просто передышка.
Бьют часы на башне —
Прошлomu не выплыть.
И не то, чтоб страшно...
Просто не с кем выпить.
Просто не с кем чокнуться
И душой раскрыться.
И не то, чтоб чокнулся,



Просто лень побриться.
И в дыму табачном
Кружатся виденья.
И не то, чтоб мрачно,
Просто нету денег.
С ними я расстался
В сумерки весенние.
И не то, чтоб сдался,
Просто невезение.
И судьбы колеса
Мчат меня по кругу.
И не то, чтоб слезы...
Просто вспомнил друга.

* * *

Тихое утро... блеклый рассвет...
Как это странно — нас уже нет.
Все, как и раньше, все, как и прежде,
Те же иллюзии, те же надежды,
Те же словечки, те же манеры,
На перекрестках — милиционеры,
Влажный бульвар 'окаймил парапет...
Невероятно — нас уже нет.
Те же долины, синие горы,
Те же клокочущие разговоры...
Жирные тучи, грязное небо...
И непонятно — ты был или не был.
Кто мне откроет вечный секрет:
Что это слезы, раз нас уже нет.

* * *

Живу среди крокодилов,
О, ужас! О, беда!
И грустно, и противно,
И смех, и ерунда.
Выходишь ли из дома,
А их полным-полно,
В машинах, гастрономах,
В столовых и кино.
И ходишь, как по лезвию,
Весь день настороже...
Какая тут поэзия,
Бодлер и Беранже!



До такта ли, до чести ли,
До книг ли, до газет?
Лишь не попасть в их челюсти —
Другой заботы нет.
Ни кротостью, ни ласкою
Не усмирить их пыл.
Я сам зубами лязгаю,
Как будто крокодил.
И как последний грешник,
И как презренный раб,
Плюю в того, кто нежен,
Смеюсь над тем, кто слаб.
А драться, так уж драться,
Хлестать по мере сил..
Но может быть, о братцы,
Я тоже крокодил?
И страхи все напрасны,
И горечь ни к чему...
А жизнь... она прекрасна.
Не знаю почему.

Виктор НОЗАДЗЕ

Борьба за восстановление территориальной целостности Грузии (Месхети)

12. ГРУЗИНО-АРМЯНСКИЕ, АНГЛО-ТУРЕЦКИЕ И РУССКИЕ ИНТЕРЕСЫ В МЕСХЕТИ

Эти осложнения были вызваны тем, что на Ардагани, помимо Грузии, претендовала и Армения, формально же оккупация была английской. Так что вопрос по существу решала Англия и, как видно, она склонялась к тому, чтобы передать Ардаганский край Армении. (Это ее стремление проявится еще и в будущем). Поэтому генерал Кукколис, командующий оккупационными войсками Батумской области, вновь потребовал, чтобы грузины оставили Ардагани. Грузинское правительство вновь отказалось сделать это. Начались переговоры, в результате которых было решено: англичане займут северную часть всего Ардаганского округа, армяне — южную, а небольшой отряд грузин будет оставаться в городе.

Таким образом в Месхети не осталось территории, на которой могло существовать правительство «Юго-Западного Кавказа», и англичане сами ликвидировали его. Но Сервер-бег

Окончание. Начало см. в № 7.

и его сторонники не сложили оружия и создали так называемую «делегацию правительства Юго-Западного Кавказа». На местах задействовали ранее созданные «национальные комитеты мусульман», цель которых была, с одной стороны, борьба с Грузией, с другой — защита несуществующего «правительства Юго-Западного Кавказа».

Еще раньше, 28 июля 1919 года «национальный комитет ардаганских мусульман» выразил протест в связи с вступлением грузинского отряда в Ардагани, а «национальный комитет ахалцихских и ахалкалакских мусульман» требовал вывода грузинских войск из Ахалцихе-Ахалкалаки (Самцхе-Джаваheti).

Со своей стороны, 5 августа 1919 года доктор Эссад из Карса потребовал от имени «центрального комитета мусульман Юго-Западного Кавказа», чтобы упомянутая делегация этого края объявила протест по поводу занятия армянами Карса.

В ожесточенную борьбу за Месхети включились и русские (белогвардейские) силы, оживившиеся под сенью английской оккупации. Русские белогвардейцы, не признававшие независимость Грузии, объявили ей непримиримую борьбу, оказывая определенное влияние на политику англичан. Агенты Деникина посылали в Месхети своих людей, которые вели там антигрузинскую пропаганду. Они делали все, чтобы в селах отказывались воссоединяться с Грузией. И такие резолюции кое-где выносились. Деникинцы тотчас же отправляли их в Париж бывшему министру иностранных дел Российской империи Сазонову, который ждал от Парижской мирной конференции защиты интересов единой и неделимой России. Даже если бы этого не произошло, деникинцы полагали, что посылаемые резолюции помогут оставить за Россией хотя бы Батумскую область, что дало бы возможность им впоследствии прибрать к рукам как Грузию, так и весь Кавказ.

Но и грузины не сидели сложа руки, и они боролись за то, чтобы часть их территории воссоединилась с остальной Грузией.

Среди грузин-мусульман велась большая работа в поддержку Грузии. 31 августа 1919 года, в период английской оккупации, т. е. в условиях, отнюдь не способствующих подобным мероприятиям, в Батуми состоялся съезд мусульман Батумской области, который принял следующее решение:

«Мы, представители мусульман Батумской области, числом в сто человек, заявляем перед Богом и страной, что ко-

ренные жители Батумской области мусульманского вероисповедания своей историей, кровью и плотью, языком, культурой и обычаями являются грузинами, и наш край территориально и экономически всегда являлся неотъемлемой частью нашей родины — Грузии.

Выражаем свою непреклонную волю и твердое решение: отныне и во веки веков Батуми и его область должны воссоединиться со своей естественной родиной, Грузинской республикой, на основе широкой автономии мусульманской Грузии с предоставлением национальным меньшинствам в пределах этой автономии равных с нами политических и гражданских прав. Известить о нашем постановлении Парижскую мирную конференцию и просить правительство Грузинской республики принять все меры для осуществления нашего решения».

Избранная съездом в составе двадцати человек делегация под руководством Махмед-бега Абашидзе отправилась в Тбилиси, где передала постановление съезда Учредительному собранию Грузии.

Это был ответ как агентуре Турции, так и англичанам и русским.

13. БОРЬБА «МУСУЛЬМАНСКИХ КОМИТЕТОВ» В МЕСХЕТИ

В конце августа 1919 года англичане оставили занимаемую ими территорию Ардаганского округа. По их решению она должна была перейти к Армении, но начальник грузинского отряда принял соответствующие постановлению правительства Грузии меры и не впустил армян в Ардагани, сделав письменное заявление о том, что северная часть Ардаганского округа, где ранее стояли английские войска, присоединяется к Грузии. Таким образом северная часть Ардагани фактически отошла к Грузии. (В ноябре 1920 года, когда Турция напала на Армению и, взяв Карс, перерезала армянам дорогу, они вынуждены были оставить южную часть Ардаганского округа, которую заняли грузины, таким образом весь Ардаганский край оказался в руках Грузии).

Враждебные Грузии «мусульманские комитеты», не прекращавшие своей деятельности, тотчас же взялись за перья и стали строчить жалобы на Грузию.

Расим-бей, председатель «мусульманского комитета» Ардагани, Муртаз-бей, председатель Ахалцихского и Ахалкалак-

ского «мусульманского комитета», Эссад и другие посылали докладные записки обосновавшейся в Батуми «делегации Юго-Западного Кавказа», через которую сообщали крупным державам о бесчинствах, творимых грузинами в Месхети, требуя вывода грузинских войск из Ахалцихе и Ахалкалаки, а вдохновитель этого движения Сервер-атабаг готовил меморандум для Парижской мирной конференции, который и опубликовал в Батуми 19 октября 1919 года.

Меморандум Сервер-атабага наглядно показывает нам, какую политику проводило созданное им движение и куда хотело завести Месхети.

Сервер-атабаг, принц Коблианский обращается к Парижской мирной конференции от имени «мусульманского национального съезда» и подписывает меморандум так: «С. П. Атабек, принц Коблианский, вместо президента центрального комитета, защищающего интересы жителей Юго-Западного Кавказа».

Что же сообщает атабаг Парижской конференции и чего требует?

В меморандуме излагается краткая история Самцхе-Саатабаго и отмечается, что грузины и армяне разгромили весь край. Задается вопрос, — пишет атабаг, — чего мы хотим? Хотим ли независимости или предпочитаем оставаться под кровавым ярмом поработителей?

В меморандуме говорится:

«Национальное собрание, представляющее территории Юго-Западного Кавказа, торжественно ответило на этот вопрос, категорически выразив свое стремление к независимости».

Это заявление, естественно, обосновывалось известными вильсоновскими принципами.

Далее в меморандуме читаем:

«Опираясь на принципы Вильсона, предусматривающие право народов на самоопределение, национальное собрание полагает, что территории Юго-Западного Кавказа являются законной собственностью тех народов, которые на них проживают и интересы которых переплелись между собой, несмотря на исторические и преисторические права».

Национальное собрание, включающее составные самого меньшинства, как то русских, греков и других, приняло следующее решение: 1. Государство Юго-Западного Кавказа, которое состоит из провинций: Батумской и Карской; уездов Ахалцихского и Сурмалийского, а также северных частей

Ахалкалакского и Эчмиадзинского уездов, населенных пс
большой частью мусульманами, есть независимое государство.
Оно провозглашает себя республикой до созыва Учредительно-
го собрания. Национальное собрание не отказывается от пре-
дыдущего постановления, принятого жителями Батуми, Карса
и Ардагани, в котором шла речь о присоединении к Турции.
Более того, в случае обнародования итогов проведенного пле-
бисцита или проведения нового плебисцита по решению мир-
ной конференции, национальное собрание желает, чтобы в нем
приняли участие жители и Сурмали, и северных частей Ахал-
калаки и Эчмиадзина».

О чем говорит этот меморандум и какую цель он пре-
следует?

Авторы меморандума, а вслед за ними национальное со-
брание считают, что в «государство Юго-Западного Кавказа»
должны входить вся Батумская область, Ахалцихско-Ахалкалак-
ский уезды, составляющие часть грузинской территории, и
Сурмали с Эчмиадзином, принадлежащие Армении.

Авторы меморандума, а вслед за ними национальное соб-
рание полагают, что республика объявляется временно, ина-
че по плебисциту, проведенному по существу турками в 1918
году, согласно условиям Брест-Литовского договора, Батум-
ская область, Карский и Ардаганский округа тотчас же при-
соединяются к Турции, против чего они возражать не будут.

Таким образом вся эта возня вокруг липового «государ-
ства», все эти требования к Парижской мирной конференции,
вся эта борьба, затеянная Сервер-бегом, нужны были для то-
го, чтобы преподнести «Юго-Западный Кавказ» Турции.

Вне всякого сомнения движение Сервер-бега было свя-
зано с политикой, проводимой Турцией на Кавказе с позиции
силы. Турция хотела присоединить к себе Месхети и часть
Армении. Ей, как мы знаем, даже удалось добиться этого вс
время большой войны, но после поражения она оставила на
Кавказе верных своих агентов, продолжавших ее политику,
в сложившихся нелегких условиях боровшихся против Грузии,
посягавших на ее суверенитет.

Грузия, со своей стороны, в целях самообороны пред-
приняла ответные шаги: заняла всю территорию Месхети, где
не стояли английские оккупационные войска. А 25 декабря
1919 года грузинский парламент согласно постановлению съез-
да мусульман, состоявшегося в Батуми 31 августа 1919 го-
да, объявил о придании мусульманской Грузии автономии.
Председатель правительства Ноэ Жордания обратился к му-



сульманам-грузинам с братским приветствием, в котором, между прочим, говорилось:

«Несколько веков назад, силою обстоятельств, вы оторвались от древней Грузии, перестали жить ее горестями и радостями, однако ваша духовная связь с родиной, Грузией, не прерывалась. Даже неусыпный наш враг называл вас гурджами, т. е. грузинами. Несмотря на жестокие преследования вы сохранили язык и обычаи предков. Согласно воле граждан всей Грузии и постановлению парламента, во избежание всяких недоразумений, правительство демократической Грузии всенародно объявляет, что мусульманской Грузии дается автономия, представители грузин-мусульман сами будут издавать законы, которые позволят им организовать свою жизнь по своему усмотрению, привести в порядок местные дела, построить счастье в родном краю».

Само по себе объявление автономии имело огромное значение, оно в известной мере лишало всяких оснований разного рода демагогические проповеди, направленные против христианской Грузии.

Как уже отмечалось, английские оккупационные войска начали уходить из Месхети в августе 1919 года, и таким образом почти вся мусульманская Грузия, древняя Месхети (в пределах России), за исключением южной части Ардагани, которой тогда владели армяне, вошла в состав Грузии. В руках англичан находился только Батуми.

Так заканчивается эта богатая малыми войнами краткая история Грузии до конца 1919 года — грядет пора новых, еще более сложных и тяжелых боев.

14. ПОБЕДА ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИТИКИ В МЕСХЕТИ

Как видим, на территории Месхети столкнулись друг с другом грузинские, армянские, турецкие, английские и русские интересы.

Грузинские интересы в данном случае вполне естественны. Согласно многовековой традиции Месхети была и есть Грузия.

Армянские интересы распространялись сперва на всю Месхети, но потом ограничились Джавахети или Ахалкалакским уездом и Эрушети (Подховский район, Артаани), при этом армяне не упускали из виду Шавшет—Кобулети—Ачара. Свои притязания Армения обосновывала частично тем, что в

этих местах, проживает много армян и что ей нужен выход к морю.

Турция не могла забыть, что в течение долгого времени владела Месхети, что население ее в значительной мере омусульманено и что Месхети давала ей возможность господствовать на Кавказе.

Самым странным было поведение англичан. Какие интересы могли быть у них в Месхети?

Совершенно очевидно, что англичане не имели четко определенной политики в отношении Месхети. Поначалу они не мешали правительству Грузии занять Ахалцихе, Ахалкалаки и даже позволили какое-то время оставаться в Ардагани. Потом они стали поддерживать движение Сервер-атабага и, убедившись, что оно имеет определенную перспективу, обещали даже помощь. Вообще англичане сами создавали все новые и новые государства турецкой ориентации и явно благоволили к ним. Возможно, этим и объясняется, что создание правительства «Юго-Западного Кавказа» англичане восприняли как факт (которому, может быть, даже способствовали) и обещали помощь; когда же выяснилось, что это правительство не в состоянии противостоять силам грузин, а Сервер-атабаг проводит турецкую политику в то время, как Англия намеревалась сокрушить Турцию, англичане ликвидировали правительство «Юго-Западного Кавказа», полностью игнорируя жалобы и претензии «комитетов мусульман».

Дальнейшая политика англичан абсолютно меняется — они пожелали передать Ардагани Армении. Этот шаг, очевидно, был продиктован соображениями, согласно которым Армения должна была получить выход к морю. С подобной политической тенденцией мы еще столкнемся.

Грузия вернула себе Самцхе (Ахалцихе) и Джавахети (Ахалкалаки), которые включились в жизнь всей страны. Особое значение здесь придавалось выборам в Учредительное собрание Грузии. Они имели не только внутривнутриполитическое значение, им был придан характер плебисцита: победит здесь грузинская ориентация или нет. Выборы прошли по знаменитой четырехзначной формуле.

В Ахалцихском уезде в выборах приняло участие 30 000 человек. Грузинские партии получили 26 500 голосов. Армянская партия — только 3 000. Остальные партии — мизерное число голосов.

В Ахалкалакском уезде в выборах участвовали 21 687

человек. Отсюда грузины получили 13 000 голосов, Армяне — 8000.

Таким образом выборы показали миру, что спорного вопроса не существует, край этот принадлежит Грузии.

Муниципальные выборы города Батуми, несмотря на оккупацию, также подтвердили, что большинство жителей Батуми связывало себя с Грузией, и вышеупомянутое собрание грузинских мусульман еще раз заявило, что мусульманская Грузия хочет остаться с христианской Грузией. Великая Грузия объединялась вокруг Тбилиси.

15. АНГЛИЯ И БАТУМСКИЙ ВОПРОС

Борьба Грузии за Месхети к концу 1919 года закончилась победой. Оставалось решить Батумский вопрос, и тут правительство Грузии оказалось в необычном положении, обусловленном политическим состоянием самой республики и международной обстановкой.

Заняв Батуми*, англичане стали проводить здесь русскую политику. В то время Англия помогала белогвардейскому движению, поэтому забота о Батуми была возложена на т. н. «Правящий совет» во главе с русским Масловым. Хотя Маслова вскоре изгнали из совета за правонарушения, «Правящий совет» тем не менее продолжал проводить русскую политику, т. е. преследовал грузин, особенно мусульман грузинской ориентации, открывал русские школы, препятствуя открытию грузинских, насаждал русскую администрацию и с помощью своих агентов вел в Ачара активную пропаганду против грузин. Как уже было сказано, англичане не мешали русским в их деятельности, более того, покровительствовали им. Несмотря на это, когда 29 февраля 1919 года в городе прошли выборы, выяснилось, что и Батуми — тоже Грузия.

Надо было выбрать 36 гласных, и поскольку выборы проходили по правилам, установленным комиссией, назначенной английским военачальником, т. е. с соблюдением национальной пропорции, выяснилось, что грузины в итоге собрали большинство — 20 гласных, русские — 2 гласных, армяне — 4, евреи — 2, греки — 8 гласных. Эти выборы имели большое национально-политическое значение, поскольку они, с одной

* Слово «Батуми» греческого происхождения и значит «глубокая пристань» (см. Прайса).

стороны, аннулировали итоги плебисцита, незаконно проведенного турками 14 июля 1918 года, с другой же, показали английским военным властям, что Батуми — Грузия, а не Россия.

Вместе с тем следует отметить, что представители остальных национальностей, в частности евреи, греки и армяне, жившие в Батуми, были несомненно грузинской ориентации, и таким образом Батуми в результате выборов, выразивших волю всего населения, вручал себя Грузии.

Вторым таким ответом была резолюция собрания жителей Батумской области от 31 августа 1919 года, в которой содержалось требование о присоединении Батуми и его области к Грузии... Но сам по себе Батумский вопрос был непростым и нелегким.

Уход англичан из Закавказья означал, что Грузия остается один на один с русскими, войска которых уже подступали к ее границам с севера, и Турцией, собиравшей кемалистские силы на юге. Еще не упроченной Грузинской республике требовалась помощь, и правительство Грузии хорошо это понимало. Поэтому дипломатическая деятельность, проводившаяся им, была естественна и целесообразна. Эта деятельность основывалась на политической независимости грузинского народа и стремлении обрести вспомогательную силу. Таким образом, с одной стороны, шла борьба за восстановление территориального единства Грузии, борьба за великую Грузию, и с другой — за упрочение грузинского государства и параллельно — поиски вспомогательной силы, обязательной и необходимой для этого упрочения. Вот почему министр иностранных дел Грузинской республики Евгений Гегечкори 4 сентября 1919 года говорил чрезвычайному комиссару Англии Оливеру Уордропу:

«Мы хорошо понимаем, без сильного союзника нам трудно будет получить признание нашей независимости, ибо не только мы, но и сравнительно более крупные европейские государства, более обеспеченные с финансовой точки зрения, в нынешнее время сосуществовать без поддержки извне не могут. Правительство Грузии понимает, что оно должно опереться на какой-либо сильный государственный организм, и сознание этого подсказало ему определенную ориентацию на Англию... Оно просит помощи у Англии и хочет знать, что пожелает Англия взамен... Нынешний момент осложняется уходом английских вооруженных сил из Закавказья... Достаточно англичанам, являющимся сдерживающим элементом,

уйти, чтобы начались осложнения с юга и севера. Исходя из этого, мы официально просим мирную конференцию, Лондон и здешнее английское командование оставить в Закавказье одну часть английских войск. Нам обещали ответить, но ответа до сих пор нет».

Ответ был следующим: в Батуми осталась часть английских оккупационных войск, и дипломатические переговоры вокруг Батуми продолжились. Продолжились в том смысле, что правительство Грузии давно требовало передачи Батуми и Батумской области Грузии, а после ухода англичан из Батумской области вопрос этот касался уже только самого города и порта Батуми.

Грузинское правительство считало, что Батумская область с Батуми должна быть передана Грузии, а порт Батуми как военная база — оставаться в руках англичан. Англичане в принципе приняли это предложение, но окончательного ответа не давали.

Окончательный ответ Грузия получила в июле 1920 года, когда Англия полностью освободила Батуми и передала его Грузии, но это другая история, связанная, в свою очередь, с третьей — а именно: отказом от английской ориентации в результате заключения (7 мая 1920 года) договора с Советской Россией и изменением политики самой Англии на Ближнем Востоке, в частности по отношению к Закавказью. Об этом речь пойдет ниже, здесь же отметим, что к концу 1920 года Грузия владела всей Месхети в тех пределах, в которых она входила в состав Российской империи, и к началу 1921 года христианская и мусульманская Грузия были объединены: возродилась древняя Грузия со своей Месхети (за исключением Лазистана, который остался в пределах Турции).

Так закончилась эта борьба, борьба великая и трагическая, кровавая и самоотверженная, которую в течение трех лет вела Грузия. Закончилась полной победой, увы, очень скоро, по истечении всего двух месяцев, обернувшейся поражением, в результате которого Грузия потеряла свободу и большую часть Месхети.

16. ДОГОВОР МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Вопрос о границах того или иного государства решается не на основе его одностороннего заявления, необходимо признание и подтверждение их пограничными странами. После

двух лет непрерывных споров Грузии пришлось выяснять свои границы, если не окончательные, то хотя бы временные, с некоторыми соседними странами. Важным шагом в этом направлении явился договор с Советской Россией от 7 мая 1920 года.

Вопрос о границах неоднократно поднимался Россией, но оставался открытым из-за бушевавшей там гражданской войны. Практически он был поставлен после того, как красная Россия заняла Азербайджанскую республику (28 апреля 1920 года), и русские войска, подойдя в начале мая к границам Грузии, начали военные действия против нее. В этой войне русские потерпели поражение. В то же время в Москве был заключен договор между Грузией и Россией.

Он был подписан 7 мая 1920 года и сразу же вошел в силу. Согласно этому договору, Россия де-юре признала Грузинскую республику, территория которой состояла из Черноморской губернии до реки Псоу, Тбилисской и Кутаисской губерний, Батумской области со всеми уездами, с Закатала и Абхазией.

Спорные до того территории — Саингило (Закатала), Борчало, Батумская область отныне считались грузинскими; открытым оставался вопрос двух грузинских районов Карской области: Ардагани и Олтиси.

И в этом случае дало о себе знать административное деление, к которому прибегли в свое время русские власти после присоединения этих территорий в результате военных действий 1876—1877 годов. Тогда эти исконно грузинские земли — Ардагани и Олтиси — Россия искусственно придала Карской области вместо того, чтобы присоединить их к Батумской области, что было оправдано как географически, так и экономически. Именно Ардагани и Олтиси имеются в виду во втором разделе V параграфа Договора от 7 мая 1920 года, где говорится следующее: если, кроме отмеченных в договоре границ, т. е., кроме Батумской области. Грузия получит от нынешних государств или тех, что возникнут в будущем, новые территории, Советская Россия признает за Грузией те из них, что ранее являлись частью территории, управляемой кавказским наместником.

Ясно, речь шла не о турецкой территории. Имелись в виду границы с соседними государствами — Арменией и Азербайджаном — в масштабе древнего Кавказа вообще и в частности, в данном случае, — Ардаганско-Олтисским краем.

Вопрос Ардагани—Олтиси ко времени заключения Дого-

вора, как отмечалось выше, был спорным. На эти земли претендовала только Армения. Таким образом, Грузии надо было решать этот вопрос непосредственно с Арменией, и Россия признала бы ту границу, о которой они договорились бы.

Итак, Договор от 7 мая 1920 года признал за Грузинской республикой всю Месхети, за исключением Ардагана и Олтиси. В этом смысле он имел важное и положительное значение, но результаты его оказались прискорбными для Грузии в другом отношении. По существу договор этот, принесший Грузии признание де-юре со стороны России, оказался тем самым сплетенным из прутьев висячим мостом, который не выдержал первой же тяжести и рухнул вниз, увлекая за собой в пропасть всю республику, весь грузинский народ.

Дело в том, что Договор означал отказ от объявленной председателем правительства Ноэ Жордания и торжественно принятой ориентации на Европу.

В свое время Ноэ Жордания во весь голос заявил: восточному варварству мы предпочитаем западный империализм. Это означало, что он отвергает ориентацию на Советскую Россию. Но именно Советская Россия стала хозяйкой на Кавказе в результате Договора от 7 мая. В параграф которого требовал от Грузии незамедлительного удаления или разоружения всех находящихся на ее территории иностранных вооруженных сил. Под последними, естественно, в первую очередь, подразумевались Англия и ее оккупационные войска в Батуми.

Как мы сказали, этот Договор вошел в силу сразу же по подписании, без всяких утверждений и ратификаций. Поэтому правительство Грузии было вынуждено потребовать от Англии немедленно оставить Батуми. Мы знаем, какие демонстрации и ожесточенная пропаганда велись в Грузии против Англии, и это тогда, когда министр иностранных дел Грузии Евг. Гегечкори прилагал все усилия для того, чтобы убедить Англию оставить в Грузии хотя бы небольшой контингент войск.

В это время политика Англии на Ближнем Востоке претерпевала кризис. С целью сокращения расходов Англия отовсюду выводила свои войска, а Договор от 7 мая между Грузией и Россией убедил англичан, особенно после большевизации Азербайджана, что их влияние на Кавказе катастрофически падает и потому, несмотря на все просьбы и уговоры, Англия вывела свои последние части из Батуми и сдала город Грузии. Таким образом она оставила ее одну без вся-

кой поддержки перед лицом надвигающейся русской опасности. На предложение грузинского правительства оставить за собой Батумский порт, 4 июля 1920 года Англия ответила полным выводом оттуда всех своих частей.

Этот день подвел черту под европейской ориентацией Грузии, фактически с этого дня она подпадает под влияние Советской России. Поэтому выше мы сказали, что Договор от 7 мая был положительным явлением только в том смысле, что Грузию признали де-юре и были очерчены ее границы, в остальном же этот Договор развязал Советской России руки для полной ликвидации Грузинской республики. (Мы, разумеется, не касаемся здесь вопроса о том, кто был ответствен за подписание майского Договора, — не это является предметом нашей работы).

17. БОРЬБА ЗА МЕСХЕТИ ЗА РУБЕЖОМ

В то время, как на Кавказе шла ожесточенная борьба вокруг Месхети, ее судьба составляла предмет не менее горячих дипломатических споров на международной арене, в Европе.

Правительство Грузинской республики послало в Париж на конференцию делегацию от Грузии под руководством Николоза (Карло) Чхеидзе. Делегация должна была представить меморандум о Грузинской республике и защитить ее интересы.

Уже в июле 1919 года делегация Н. Чхеидзе передала в секретариат Парижской мирной конференции меморандум, в котором, естественно, были определены и границы грузинского государства.

Согласно упомянутому меморандуму, территория Грузии включала в себя следующие части: «Тбилисская и Кутаисская провинции, Сухумский и Закаталский дистрикты, Батумская провинция, два дистрикта западной части Карской провинции (Олтиси и Ардагани) и некоторые районы Черноморской провинции и Трапезундского вилайета».

Именно здесь поднимается вопрос о Трапезундском вилайете или Лазистане, или Чанэти.

В меморандуме по этому поводу говорится: «Кроме того, по определении границ Армении и бывшей Турецкой империи, Грузия настоятельно требует, чтобы Лазистан, ныне принадлежащий Турции, был присоединен к ее (Грузии) территории;

она требует также исправления границы у истока реки Чорохи, поскольку никто, кроме нее (Грузии), не имеет права на эту исконно грузинскую землю».

На основе чего требовала грузинская делегация эти территории? Обоснование следующее:

«Эта территория, безусловно, грузинская, с 75-процентным грузинским населением, представляет собой этнически, исторически, а также экономически неделимую единицу среди восточных христианских государств».

Это была и есть непреложная истина.

На той же Парижской конференции присутствовали делегации Армении и Азербайджана. Особенным почетом пользовались армяне, их вопрос был связан с Турцией и ставил своей целью восстановление великой Армении.

Верховный совет государств Антанты, решавший судьбы мира, создал специальную комиссию для рассмотрения армянского вопроса; в нее вошли представители Англии, Франции, Италии и Японии.

Поскольку эта комиссия полагала, что Армения должна иметь выход к морю (Вильсоном так и было обещано: все получают выход к морю), возник спор из-за Лазистана; только на этот раз грузинская делегация сама потребовала Лазистан и исправления границ по среднему течению Чорохи в сторону Испири в пользу Грузии. Она же требовала и западную часть Карской области, т. е. Ардаганский и Олтисский районы. «Этот план предусматривал присоединение к Грузии всех частей так называемой мусульманской или турецкой Грузии», — писал Зураб Авалишвили.

В своей ноте к Верховному совету государств Антанты от 1 марта 1920 года грузинская делегация потребовала присоединения к Грузии Батумской области и вместе с тем выступила с предложением о заключении договора между Грузией и соседними Арменией и Азербайджаном, согласно которому последние получали свободный торговый выход к Батуми, более того — в соответствии с указанным договором Батуми должен был стать международным транзитным портом. В этой же ноте повторялось требование о присоединении к Грузии Лазистана и некоторых районов вдоль течения Чорохи.

Был принят следующий план: Батуми объявляется свободным городом со своей территорией. Остальная часть территории распределяется так: северная и восточная часть области отходит к Грузии, южная — Артвинский район — к Армении; Лазистан становится автономной единицей под сувере-

нитетом Армении. Таким образом, Армения получала выход к морю.

На этот план Верховного совета государств Антанты 16 марта 1920 года грузинская делегация представила свой ответ, в котором доказала обратное: 1) вся Батумская область является принадлежностью Грузии и 2) два района Карской области — Ардагани и Олтиси — также должны принадлежать Грузии.

Г-н З. Авалишвили, перу которого принадлежит этот ответ, писал следующее:

1. Батумская область с Батумским и Артвинским районами, большинство населения которых составляют грузины-мусульмане, должна быть присоединена к территории Грузинской республики.

2. Дробление Батумской области и передача какой-либо части другому государству незамедлительно вызовет глубочайшие раздоры и обострит отношения между соседними народами Закавказья.

3. Если будет доказано, что в силу географо-топографических или каких-либо других причин путь Армении к морю непременно должен пролегать через ту территорию, которую грузинский народ считает своим национальным достоянием и на законных основаниях требует ее возвращения, надо будет считаться с правами грузинского народа. Упомянутый путь к морю, т. е. сеть железных дорог Армении на предполагаемой территории, возможен лишь на основе специальной договоренности с соблюдением на нем приоритета Грузии.

4. Создание в Батуми автономной республики, в которую должна входить и часть Батумской области, обязательно вызовет еще большие осложнения в и без того непростых отношениях между закавказскими государствами. Это решение, ввергающее грузинский народ в отчаяние, ибо лишает его лучшего порта, вовсе не обязательно для соседних с Грузией государств с точки зрения их торговых и экономических требований, не обязательно и для международной торговли особенно с учетом требований транзита товаров в Персию, поскольку все эти интересы, значение которых полностью разделяется правительством Грузии, могут быть удовлетворены, а необходимые гарантии обеспечены специальным соглашением между прямо заинтересованными сторонами и с помощью Верховного совета или Лиги наций.

Созданный на этой основе Батумский порт превратится, под властью Грузии, действительно, в общий для трех рес-

публик выход к морю и в то же время в международный торговый склад, при этом он не будет искусственно оторван от основной территории, и права Грузии в Батуми останутся неприкосновенными.

5. Правительство Грузии еще раз подтверждает свое требование о возврате двух районов Карской области — Ардагани и Олтиси.

6. Возможно, из соображений общей политики и для обеспечения выполнения условий мирного договора большие государства посчитают необходимым создание в Батумском порту военной и морской баз, для чего они должны иметь соответствующие условия, а самый простой путь к этому — заключение необходимого соглашения и договора с Грузией.

Вот что писал г-н З. Авалишвили Верховному совету Антанты!

Короче, согласно этой ноте Батумская область полностью и два района Карской области — Ардагани и Олтиси — должны были остаться в пределах Грузии, а соседним государствам давался выход к морю.

Поскольку международное положение тогда было таким, что Азербайджан не мог заикнуться о присоединении к нему Батуми, азербайджанская делегация примкнула в этом вопросе к грузинской делегации, более того, она требовала для Грузии всю Карскую область (назло армянам!).

«Нам же, — писал г-н З. Авалишвили, — трудно было согласиться с этим требованием, поскольку в нашем основном меморандуме (1919) из четырех районов Карской области мы претендовали только на два — Ардагани и Олтиси».

После больших дебатов общее собрание азербайджанской, армянской и грузинской делегаций в конце концов признало верховную власть Грузии в Батумской области; а в Батуми учитывались интересы как Азербайджана, так и Армении. Но Армения потом потребовала еще и часть Батумского порта и в собственность землю, по которой должна была пройти железная дорога из Карса в Батуми. Грузинская делегация не возражала против строительства этой дороги, но территорию, по которой она должна была пройти, отдавать в собственность Армении отказалась, экстерриториальность железной дороги отвергла.

На заседании от 16 апреля 1920 года делегация Армении заявила, что территория Батумской области представляется ей только до реки Чорохи. Так что граница между Грузией и Арменией должна проходить по реке Чорохи. На этот

раз армяне потребовали левый берег реки Чорохи в Батумской области. Естественно, это было абсолютно неприемлемо для грузинской делегации, и спор начался сызнова. В конце концов армяне отказались от притязаний на левый берег Чорохи, а грузины вновь подтвердили свое согласие на проведение Арменией железной дороги Карс-Батуми по грузинской земле, вдоль ущелья Чорохи с сохранением на этой территории суверенности Грузии. Армяне опять стали требовать передачи в их руки этой территории, грузинская делегация опять отклонила это их требование. Под конец армяне согласились на предложение грузинской стороны, но с оговоркой: в тексте соглашения должно было быть отмечено, что «железная дорога является исключительной собственностью Армении». Грузинская делегация не приняла этой юридической формулировки, и соглашение не состоялось (24 апреля 1920 г.).

К этому времени стала ясна роль, которую играла Англия в этих переговорах. Представитель Англии Б. Ванситатр явно поддерживал притязания армян, разоблачив таким образом политику, проводимую английскими генералами в Закавказье; поддержав создание «Юго-Западной кавказской республики», они полагали, что эта республика вместе с автономным Лазистаном войдет в состав Армении, и таким образом Армения благодаря Месхети получит выход к морю. Но государство «Юго-Западного Кавказа» лопнуло как мыльный пузырь, Грузия заняла большую часть его территории, а английские представители сохранили для Армении лишь часть Ардагани.

Армяно-английская политика потерпела поражение и после занятия Советской Россией Азербайджана (28 апреля 1920 года), а также в результате других факторов международной и внутренней политики, в частности заключения Договора между Грузией и Россией от 7 мая; Англия вывела свои войска из Батуми (4 июля 1920 года), и Батуми перешел в руки Грузии.

Когда же большевистские войска вторглись в Армению, армянское правительство возвратило Грузии остававшуюся в его ведении часть Борчалинского уезда; Грузия присоединила к себе также отторгнутую от Армении во время нашествия турок, оставшуюся бесхозной южную часть Ардаганского края.

К концу 1920 года грузинские земли были объединены и соединены в одно целое: образовалась великая Грузия в древних своих пределах, со своими территориями, которые прев-

ратностями судьбы некогда оказались отторгнутыми от нее. Восстала Грузия!

Но к порогу подступала новая угроза: Советская Россия и кемалистская Турция!

Чтобы ясно представить себе последующий ход исторических событий и значение действий России и Турции для судьбы Грузии, кратко ознакомимся с положением самой Турции после войны и разберемся в причинах тех необычных явлений, результатом которых стало сближение Турции и России и конец кавказских республик, в частности Грузии.

18. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ ТУРЦИИ И ВОПРОС МЕСХЕТИ В ТУРЕЦКОМ «НАЦИОНАЛЬНОМ ПАКТЕ»

После поражения в войне 30 октября 1918 года Турция подписала временный мирный договор на острове Мудрос. 3 ноября 1918 года англичане заняли Мосул, и 13 ноября 1918 года флот союзных государств или Антанты вошел в Константинополь. Началось составление планов мирных переговоров с Турцией и подготовка Севрского договора.

В январе 1919 года англичане заняли почти всю Аравию. Урфу, Аинтап, Адану и Самсун. 29 апреля 1919 года итальянцы заняли Анатолию, французы — Киликию. 15 мая 1919 года греки вошли в Измир. Османская империя рушилась, распадалась на части. Это вызвало подъем патриотических настроений в Турции, основание «Общества защиты прав народа» дало толчок национальному движению. Мустафа Кемаль-паша, назначенный правительством султана инспектором Девятой Армии, обращается к военачальникам и губернаторам с призывом способствовать усилению национального духа турок в борьбе против Антанты, он ищет союзников, через своих агентов налаживает связь с Москвой и Берлином и начинает борьбу.

К этому времени относится первое столкновение между турками и греческими оккупационными войсками в Одемисе.

Националисты вели энергичную борьбу против Антанты, с одной стороны, и против покоренного Антантой султанского правительства, с другой. 21 июня 1919 года Кемаль-паша созывает в Сиве национальный съезд, а 10—23 июля 1919 года Эрзерумский конгресс принимает декларацию, первый параграф которой гласит:

«Восточные вилайеты Малой Азии, Трапезундский вилайет

и санджаки* Чаники представляют собой единое, неделимое целое и входят как интегральная часть в состав Оттоманской империи. Трапезундский вилайет и санджаки Чаники (Чанэти В. Н.), а также вилайеты восточной Анатолии — Эрзерумский, Сивасский, Диарберкирский, Харпутский, Ванский и Битлисский и все автономные санджаки, находящиеся в районах этих вилайетов, никоим образом и ни под каким видом не должны быть разобщены друг с другом, ибо представляют собой единое целое».

То же самое было повторено 4—12 сентября 1919 года на Сивасском конгрессе, который четко сформулировал следующее (второй параграф): «Мы постановляем до последней капли крови защищать свою родину от любого вторжения и особенно от любой попытки образовать на нашей территории греческое или армянское государства».

На Эрзерумском конгрессе 7 августа 1919 года был избран исполнительный комитет. Фактически возникло второе правительство Турции в противовес султанскому. 12 сентября 1919 года по требованию Антанты прекратились отношения между Анатолией и Константинополем, а англичане принудили султанское правительство подписать тайный договор, по которому Турция принимала мандат Англии. К этому же времени, 7 октября 1919 года, султанское правительство объявило выборы палаты депутатов. 12 января 1920 года состоялось заседание палаты, на котором был высказан протест против действий государств Антанты и принят так называемый «Турецкий национальный пакт» или «Национальная клятва», которая должна была лечь в основу национальной борьбы Турции и которая действительно стала краеугольным камнем турецкой национальной политики.

Первый параграф принятой турецким парламентом «Национальной клятвы» касается арабских стран и говорит о том, что арабское население само должно определить свою волю.

Фактически это означало подтверждение освобождения арабских стран, входящих в Турецкую империю. Остальная же территория, «которая находится за линией, отмеченной временным миром, и населена в большинстве своем турками и мусульманами, имеющими единые происхождения, расу и религию и тесно связанными между собою этнически и социально, юридически и фактически неделима».

Эта «клятва» или «пакт» повторяется в постановлениях

* Губерния.

Эрзерумского и Сивасского конгрессов о границах Турции, но только в общем.

«Национальные границы», естественно, должны были быть подтверждены и со стороны Кавказа. Действительно, во втором параграфе «Национального пакта» говорится следующее:

«Что касается судьбы трех губерний — Карской, Ардаганской и Батумской, население которых со времени своего освобождения торжественно, путем голосования выразило желание воссоединиться с родиной, подписавшие этот пакт при необходимости сочтут возможным повторный, свободно выраженный плебисцит».

Таков второй параграф Национального пакта, касающийся, в частности, Кавказа.

Совершенно очевидно, здесь идет речь о положении, создавшемся одно время в результате Брест-Литовского договора*.

* Интересно и характерно, что этот второй параграф «Национального пакта», официально обнародованный, впоследствии меняет свое содержание. Карс, Ардагани и Батуми уже не упоминаются ни в официальной истории Турции («Истуар де ла республик Тюрк», 1935), ни в ее переводе («Турция», А. Мельник, Москва, 1937). Все эти названия опущены, и указанный второй параграф читается так:

«Мы согласны в случае необходимости на новый плебисцит в трех санджаках, население которых со дня своего освобождения в результате голосования воссоединилось с родиной».

Вот так переделан и извращен второй параграф «Национального пакта», касающийся Кавказа. Переводчик этого пакта на русский язык А. Мельник утверждает, что тут имеются в виду «три восточные губернии, которые в результате Московского договора перешли потом от Советской России к Турции». Это утверждение А. Мельника, конечно же, не имеет ничего общего с действительностью. Переводчику, как видно, не известен настоящий текст «Национального пакта», в котором называются именно Карс, Ардагани и Батуми и, стало быть, совершенно отчетливо повторяется четвертый параграф Брест-Литовского мира, но затем так, чтобы это не бросалось в глаза, второй параграф пакта незаконным образом был переделан и извращен, и названия — Карс, Ардагани и Батуми — опущены. Это непременно следует отметить!

Но если даже допустить невероятное, а именно, что к тому времени Брест-Литовский договор еще имел силу, палата турецких депутатов не имела права опираться на него, ибо, как известно, согласно четвертому параграфу Брест-Литовского договора плебисцит о самоопределении Карса, Ардагани и Батуми должен был проходить по договоренности с соседними государствами. Однако это не было учтено, а плебисцит в Батуми был проведен с такими нарушениями, что не только правительство Грузии, но и представители Германии признали его незаконным.

Требование сторон, поначалу названных в «Национальном пакте», а потом опущенных, было необоснованным, а утверждение того, что они в результате плебисцита «воссоединились» с «родиной», и вовсе не имело ничего общего с правдой.

Согласно принципу «Национального пакта» земли с преобладающим «турецким» или «мусульманским» населением считались турецкими. В отмеченных же трех районах — Батуми, Карсе и Ардагани — турки не составляли большинства населения, хотя это большинство и исповедовало мусульманство, с точки зрения расы оно чисто грузинское, ибо большая часть населения состоит из грузин-мусульман — 64 процента, и никакой плебисцит, проведенный законным образом, не показал бы, что они хотят присоединиться к Турции. К этому «пакту» или «клятве» мы еще вернемся.

16 марта 1920 года войска Антанты оккупировали Константинополь, а 17 марта в Урфе произошло столкновение турецких национальных сил с французскими войсками. Кемаль-паша выразил протест в связи с оккупацией Константинополя и созвал 19 марта 1920 года национальный съезд в Ангоре. 11 апреля 1920 года по требованию Антанты, вернее благодаря тому, что в Константинополе стояли английские войска, был разогнан константинопольский парламент, принявший «Национальный пакт», и конференция в Сан-Ремо (18—26 апреля 1920 года) подтвердила факт распада Турецкой империи: арабские страны обрели свободу; Фракия и Смирна отошли к Греции; Армения была провозглашена независимой; Курдистан получил автономию и т. д.

Состоявшийся 23 апреля 1920 года в Ангоре по инициативе Кемаль-паши «Великий национальный съезд Турции» подтвердил «Национальный пакт» константинопольского парламента, аннулировал акты султана, признав его лишь халифом. 30 апреля 1920 года в Ангоре же было объявлено о

создании нового турецкого государства, а 5 мая 1920 года образовано правительство (комиссарнат) под председательством Кемаль-паши.

15 мая 1920 года греки занимают Смирну и выступают против Кемалю. Но в это время Франция выводит свои войска из Турции, тайно помогает Кемаль-паше. 18 июня 1920 года «Великий национальный съезд» клянется на «Национальном пакте»; 20 июня Антанта поручает Греции силой осуществить условия мира по отношению к националистической Турции. Греки начинают военные действия, общее наступление на стокилометровом фронте против Кемаль-паши (22 июня 1920 года). 22 июля 1920 года правительство султана вынуждено согласиться на Севрский договор, который и подписывает 10 августа того же года.

По условиям Севрского договора от Турции отошли Фракия, Адрианополь, Галиполь, Аравия, Сирия, Палестина, Месопотамия, Армения, Курдистан — автономный, потом независимый (параграфы 27—35); Армения получила свободу и независимость с Эрзерумским, Битлисским, Ванским и Трапезундским вилайетами. Границы с Грузией и Азербайджаном должны были быть установлены в результате переговоров с этими странами (параграфы 88—93). И здесь повторялся параграф Мудросского мирного договора. Восстанавливались границы 1914 года старой Российской империи, а Брест-Литовский мирный договор аннулировался (параграфы 132—139) и др.

Хотя беспомощное и бессильное правительство султана и подтвердило Севрский договор, истинный хозяин Турции Кемаль-паша категорически отверг его, и война против греков продолжалась.

Кемаль-паша ищет помощь и находит ее в Москве, с которой его объединяет одна цель — борьба против государств Антанты.

19. ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ И КЕМАЛИСТСКОЙ ТУРЦИИ НА КАВКАЗЕ

С целью отражения полной картины последующих событий и расследования действий Турции и России — хотя этот вопрос и не имеет непосредственного отношения к Месхети — мы сочли необходимым в двух словах рассказать о гибели Азербайджанской республики.

Второе вторжение России на Кавказ произошло через Баку. И какую роль в этом сыграли Турция и Азербайджан, сказать необходимо.

Мы уже говорили, что у кемалистской Турции и Советской России появилась одна цель: борьба против Антанты. Для этой борьбы требовалось объединить силы, оказать помощь Турции оружием, деньгами и техникой. Для этого, в свою очередь, надо было проторить друг к другу пути-дороги. А дороги проходили через Кавказ, и самой легкой из них представлялся Азербайджан. И тут Турция обращает пристальное внимание на эту республику, и поскольку турецкое влияние в Азербайджане было очень сильным, она пускает в ход пропагандистскую машину, жертвой которой в конце концов и стал Азербайджан.

Вообще среди азербайджанских деятелей было немало турок, особенно в администрации и армии, где они занимали весьма значительные посты. Турецкая агентура активизировала прессу, пустила в ход скрытые силы, и начались ярая агитация в пользу дружбы с Россией и неустанная проповедь по поводу того, что Россия освобождает мусульманские народы и помогает Турции. Заместитель председателя азербайджанского парламента Хасан-бек Агаев после падения Азербайджана эмигрировал в Тбилиси. 13 июня 1920 года он отправил Энвер-паше послание, обвинявшее его в той деятельности, которую развернули в Азербайджане турецкие агенты. Этот полный упреков документ настолько значителен, что мы прибегнем к его пространному цитированию.

Вот, что писал Хасан-бек Энвер-паше между прочим о причинах гибели Азербайджанской республики:

«В последнее время в азербайджанской прессе, в особенности в газете «Иттихад», постоянно печатались ложные сведения о большевиках, которые распространяли турецкие офицеры, живущие в Баку и как будто действующие по вашему указанию.

Среди азербайджанских турок настойчиво ходили слухи, будто в результате соглашения между вами и советским правительством объединенные турецко-советские войска, встретившись в Анатолии, начнут войну против Антанты за освобождение мусульманского мира, в частности Турции. В этих слухах главным и значительным было следующее:

Русские войска пройдут через Азербайджан, не заходя в Баку, через Карабах и Армению в сторону Анатолии.

Этим движением руководят Халил-паша, Баха Саид, доктор Фуад и Баха эд-Дин.

Азербайджанский народ почти уверовал в распространяемые слухи, и инициаторы этого дела могли думать, что цели их достигнута.

Военная организация, которой руководили уполномоченные вами офицеры, гости Азербайджана, потихоньку вводили в свой круг русских большевиков, и спустя некоторое время сама эта организация приняла большевистский характер.

24 апреля 1920 года большевистские войска перешли границы Азербайджана, разогнали 300 азербайджанских пограничников и 27 апреля находились уже в 15 километрах от Баку.

Как только большевики вошли в город, их приветствовали Халил-паша и доктор Фуад, которые называли красных «нашими союзниками» и призывали население не оказывать им сопротивление.

Вошедшие в Баку большевики имели на руках красные повязки с белым полумесяцем, которые они сбросили через три месяца, естественно, за ненадобностью.

Поскольку в городе не было никакой вооруженной силы, парламент вынужден был передать власть чрезвычайному комитету, который с этой целью прислала большевистская партия.

Таким образом, в 1—2 часа ночи 27 апреля власть перешла в руки большевиков, и на другой день русская армия, нарушив свое обещание, заняла Баку и разоружила азербайджанскую милицию.

Единственной силой в городе был «парламентский полк», в основном состоящий из турок и руководимый турком. Полк под руководством Баха Саида занял здание парламента и завершил тем самым победу большевиков.

Причиной невыразимого несчастья, обрушившегося на Азербайджан, явились ошибки ваших офицеров, которые были нашими гостями, Азербайджан гибнет в результате вашего соглашения с Советской Россией...».

И Азербайджанская республика действительно погибла, сгинула в пропасть во имя интересов Турции. Благословляемый и подталкиваемый Турцией Азербайджан активно содействовал собственной гибели. Сами азербайджанцы помогли туркам ввести русские войска в Азербайджанскую республику и на этом поприще азербайджанские деятели не щадили себя. Министр внутренних дел, министр торговли и промышленно-

сти, министр, которому было поручено формирование правительства, известный М. Г. Гаджинский, не менее известный тут и там, в эмиграции, Эмин Разул-заде — все они проводили протурецкую политику. Члены правительства Азербайджана, влиятельные члены партий «Мусават» и «Иттихад», войско, находившееся в руках турецких агентов, обманутое население, весьма симпатизирующее Турции — вот те силы, которые способствовали вводу войск Советской России в Азербайджан.

Азербайджан ради Турции совершил предательство по отношению к самому себе и отсюда ко всему Кавказу.

Приведем в качестве подтверждения этого положения следующее заявление Кемаль-паши:

«Совет (турецкого) правительства в Ангоре 26 апреля 1920 года обратился письменно к правительству Советской России, в котором заявляет, что Турция берет на себя обязательство вместе с Советской Россией бороться против империализма и оказывать на Азербайджан давление в том смысле, чтобы Азербайджан вошел в состав советских республик».

Работа в этом направлении была начата давно и вскоре легко претворена в жизнь.

Кроме борьбы вместе с Турцией против империалистов Антанты, Москва преследовала свои не менее важные цели на Кавказе: восстановление границ Российской империи, возвращение кавказской базы, бакинской нефти, чнатурского марганца и Батумского порта.

Вторгшись в Азербайджан, Россия нарушила кавказские границы, играючи перешагнула через кавказские врата и, не откладывая в долгий ящик, выступила против Грузии и Армении. Она незамедлительно двинулась к границам Грузинской республики. Между Грузией и Россией разразилась жестокая война, закончившаяся поражением Советской России и договором от 19 мая 1920 года.

В Армении же Москва предварительно организовала восстания в мае 1920 года. 14 мая армянское правительство подавило большевистский мятеж в Карсе, 18-го — в Саракамыше, 19-го — в Баиазете и 22-го — в Казахском районе; 21 мая 1920 года красные части начинают наступление на Армению, занимают Казахский район. Но армяне наносят им поражение. Затем красные, объединившись с азербайджанцами, продвигаются в сторону Зангезура; 5 июля 1920 года они занимают Герус; под руководством Дро армяне организуют контрнаступление, происходит настоящее сражение. Но вскоре на

Армению нападают турки, и армяне вынуждены прекратить военные действия против XI армии. Почти весь Зангезур остается в руках русских. В октябре здесь происходит восстание, русских изгоняют, но на турецком фронте армяне терпят поражение...

Как возникла дружба между Советской Россией и кемалистской Турцией?

Мы уже отмечали, что после мировой войны у Советской России и кемалистской Турции появилась одна цель — борьба против победивших государств или против Антанты. Первая боролась с ними на юге России — на белогвардейском фронте; вторая в Малой Азии — против греков. Общность интересов создала предпосылки для развития отношений; и поскольку положение Турции было очень тяжелым, она первой обратилась к России за помощью:

23 апреля 1920 года в Ангоре открылся «Великий национальный съезд Турции»; и уже 26 апреля этот съезд обратился с просьбой к Москве помочь Кемалю в борьбе против иностранных интервентов и заключить вечный союз с Ангорой.

Вместе с тем кемалистская Турция берет на себя обязательство способствовать вхождению Азербайджанской республики в состав Советской России. Это, разумеется, было дорогое подношение!

В своем ответном послании от 2 июня 1920 года Москва приняла и подтвердила принципы правительства Кемалю, о которых заявил «Великий национальный съезд», имея в виду область внешней политики. Таким образом Москва признала Турцию в пределах «Национального пакта» и отвергла в отношении Турции капитуляцию, иностранный контроль, сферы влияния и др. Советское правительство, говорилось в ноте, «счастливы в эти тяжелые для Турции дни... заложить основы дружбы, которая соединит между собой турецкий и русский народы».

Москва предлагает Ангоре немедленно назначить дипломатического и консульского представителей. В начале лета 1920 года в Москву прибыла первая турецкая делегация, начались дипломатические переговоры, которые закончились 24 августа заключением договора о дружбе. Этот договор ставил целью совместную борьбу против империалистических государств или государств Антанты. Но для оказания прямой и значительной помощи со стороны России необходим был прямой же контакт между странами, а там, на Кавказе, Россию

и Турцию разделяли три республики, своего рода барьер, устранение которого было признано ближайшей задачей.

Еще раньше по совету или под диктовку Кемаль-паши правительство Азербайджанской республики в апреле 1920 года открывает границы для красных, которые после занятия Азербайджана нападают на Грузию, но терпят поражение.

Жертвой следующего удара становится Армянская республика.

Московское правительство обратилось к правительству в Ереване с «дружеским» предложением дать возможность России использовать армянские дороги для перевозки военного груза, предназначавшегося для кемалистских войск. Совершенно естественно, что правительство Армении, со дня на день ожидавшее реализации условий Севрского договора, ответило на это отказом, который оказался для него роковым.

После вторжения России в мае 1920 года в Грузию и поражения русских последовало объявление Кемалем 9 июня 1920 года мобилизации в восточной Анатолии и назначение военачальником на Кавказском фронте Кязим-Карабекир-паши. 7 июля того же года кемалистское правительство ставит правительству в Ереване ультиматум, и под предлогом того, что Армения собирается напасть на Турцию, само начинает военные действия против нее. Это была первая попытка разгрома Армянской республики, которая с большим успехом повторилась в октябре 1920 года, когда турки взяли Карс, а красные войска вторглись на армянскую территорию и начали наступление. 7 ноября турки заняли Александрополь (Гумбри). Окруженное с двух сторон армянское правительство, отчаявшись, спешит заключить с турками договор, чтобы иметь возможность бороться с Россией; оно подписывает «Александропольское соглашение» с Турцией, весьма тяжелое, невыносимое для Армении, но это ему не помогает — русские красные части параллельно занимают армянские территории. Армянская республика оказывается между молотом и наковальней, и 2 декабря в Ереване объявляется о создании Армянской Советской Социалистической Республики, а 3 декабря 1920 года Советская Армения и кемалистская Турция заключают «дружеский» договор. Турция и Россия — уже прямые соседи, и Кемаль получает щедрую помощь.

Известный большевик, специалист по международным вопросам М. Павлович писал в 1920 году, что «смысл существования Армении и Азербайджана, по мысли международного империализма, состоит именно в этой миссии обоих госу-

дарств быть буфером, непреодолимой стеной между, с одной стороны, революционной Россией, Советским Азербайджаном и пробудившимся Востоком, с другой, в первую очередь, Турцией и Персией». Павлович выражает не только мнение «международного империализма», но и России, поскольку такая же мысль неоднократно высказывалась советскими публицистами, например: «Меньшевистская Грузия и дашнакская Армения — основная база для разъединения России и анатолийской Турции и вечная опасность у них за спиной...»

После советизации Армении «открылся путь ускоренного сближения между революционной Анатolieй и советскими республиками». Европейский журналист Жантисан, публиковавший в 1920 году в газете «Тан» множество статей, посвященных Грузии, писал: «Уже сейчас Грузия на большей части Кавказского фронта препятствует прямым взаимоотношениям между большевиками и турецкими националистами, которые, преследуя, впрочем, различные цели, одинаково стремятся саботировать победу союзных демократий».

Это положение, не говоря уже о других, более сложных, исчерпывающе объясняет, почему Турция и Россия одновременно и сообща напали на Грузинскую республику и так по-братски поделили ее.

Между Россией и Турцией возникла общая граница — помощь оружием и деньгами значительно возросла; кемалисты усиливают контрнаступление на греков; греки, потерпев поражение, уходят из Малой Азии, приближается Лозаннская конференция, которая состоялась 29 января 1923 года. 22 октября 1923 года Турция провозглашается республикой, а ее первым президентом становится национальный герой, отец новой Турции Кемаль-паша.

Такова вкратце история Турции того времени, когда на международной арене возник вопрос о независимости Грузии. Но мы должны вернуться к отношениям между Грузией, Турцией и Россией и рассмотреть тот договор, который Турция и Россия заключили за спиной у Грузии и за ее счет.

20. РУССКО-ТУРЕЦКИЙ МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР, КАРСКИЙ ДОГОВОР И ВОПРОС МЕСХЕТИ

Москва признала кемалистское правительство практически уже 2 июня 1920 года в своей ответной ноте. Согласно этой ноте Россия признала турецкий «Национальный пакт» и

отсюда турецкие претензии на три санджака: Батуми, Ардагана, Карс. В «Национальном пакте», односторонне объявленном турецким парламентом, Батумский, Ардаганский и Карский края были признаны турецкими землями, и подразумевалось, что Турция получила их по условиям именно Брест-Литовского мира. Стало быть, Турция вернула их не по праву, а потому заявленные в «Национальном пакте» права недействительны.

Таково было истинное положение вещей, о котором министерство иностранных дел Советской России не могло не знать. Комиссариат по иностранным делам был обязан разобраться в этом вопросе, тем более, что несколькими неделями раньше, 7 мая 1920 года (7-го мая — 2-го июня!) де-юре признал Грузинскую республику, а Батумскую область — территорией Грузии.

В территорию Грузии, согласно признанию Москвой Грузинской республики де-юре, не вошли только Ардаганы и Олтиси, о которых в документе было сказано: если Грузия (кроме Батумской области) получит от существующих или возможных в будущем государственных образований новые территории, Россия признает те из них, что прежде находились под управлением кавказского наместника. Здесь идет речь только о двух округах Карской области — Ардаганском и Олтисском. Грузия вправе была полагать, что эти два округа, на которые тогда претендовала лишь Армения, войдут в ее пределы, а тут вдруг Комиссариат иностранных дел в Москве забывает даже то, что, согласно договору от 7 мая, Батумская область является принадлежностью Грузии! Как могло случиться такое?! Что это — результат невежества и беспечности чиновников или умышленный ход, имеющий целью урезать территорию Грузии, уничтожить ее и тем самым завоевать симпатии Турции?

Несомненно, что формально, признав 2 июня 1920 года турецкий «Национальный пакт», Россия поставила себя в двойственное положение — либо договор с Грузией от 7 мая 1920 года был истинным, либо нота к Турции от 2 июня.

Мы не располагаем никакими документами относительно того, знало ли грузинское правительство что-либо о ноте от 2 июня. Формально оно обязано было быть в курсе этого и принять соответствующие меры. Однако мы сомневаемся, что дело обстояло именно так.

В то время, когда в 1921 году Грузия вела войну против России, когда большевистские части вели военные дейст-

вия против грузинских войск, а Турция, обещая помощь Грузии, рыла ей могилу, между представителями московского и турецкого правительств проходят переговоры, результатом которых явился договор, подписанный 16 марта 1921 года. Тогда правительство Грузинской республики, правда, почти уничтоженное, еще находилось на своей территории. Что представляет собой этот договор от 16 марта 1921 года?

Конечно же, он начинался с признания братства народов и их прав на самоопределение! Вместе с тем Россия и Турция заявляли о своей солидарности в борьбе против западного империализма.

В первом параграфе упомянутого договора отвергаются мирные соглашения, которые не признаются либо великим национальным съездом или собранием Турции, либо Советской Россией.

Но что это за Турция, что представляла она собой? В то время ведь в Стамбуле под опекой англичан заседало правительство султана, а правительство новой Турции находилось в Ангоре! В то время ведь новая Турция под руководством Кемаль-паши жестоко боролась против утвержденного Антантой Севрского договора, который уничтожал Турцию как таковую, и вела борьбу с султанским правительством, принявшим этот договор! Поэтому в Московском договоре возникла необходимость уточнения понятия «Турция». Во втором разделе первого параграфа Московского договора по поводу этого говорится следующее: «Под понятием «Турция» в этом договоре подразумеваются территории, отмеченные Национальным турецким соглашением от 28 января 1920 (или 1920) года, которое было выработано и объявлено палатой оттоманских депутатов в Константинополе и хорошо известно прессе и всем государствам».

Отсюда явствует, что территориальный состав Турции и ее границы установлены палатой депутатов Турции 28 января 1920 года. Стало быть, односторонним заявлением палата определила пределы Турции, и 16 марта 1921 года Советская Россия своим договором признала территориальный состав Турции в том виде, в каком он определен «Национальным турецким пактом». На основе этого во втором абзаце первого параграфа Московского договора границы Турции обозначаются следующим образом:

«Северо-восточная граница Турции проходит по линии, начинающейся у села Сарли на Черном море, далее по горе Хедисмта, по водораздельной линии между Шавшетской горой

и Каннидагом, далее следует по северной административной границе Ардаганского и Карского санджаков — по Талверн, рекам Арфа-чай и Аракс до их впадения в Квемо Кара-су». Так установлена граница, существующая и поныне, в силу которой грузинские территории — Ардагани, Олтиси, Артвини вплоть до Батуми — находятся в руках Турции.

Согласно второму параграфу Московского договора, «Турция готова уступить Грузии Батумский порт и город и ту территорию, что лежит севернее границы, отмеченной в первом параграфе этого договора, и составляет часть Батумской области, с тем условием, что:

1) население территории, указанной в данном параграфе договора, будет пользоваться широкой автономией в административном плане, которая обеспечит каждый район культурными и религиозными правами, даст возможность населению провести такой аграрный закон, который соответствует его желаниям.

2) Турция получит свободный транзит для любого товара, который посылается в Турцию или из Турции через Батумский порт, беспошлинно, беспрепятственно, без каких-либо налогов, с приданием Турции прав пользования Батумским портом без особых налогов».

Согласно шестому параграфу Турция и Россия не признают и упраздняют все заключенные ранее между ними соглашения, а в восьмом параграфе обязывают друг друга не допускать на своих территориях существования враждебных организаций или группировок, претендующих на роль управления другой стороной. По 15-му параграфу Россия должна превратить в жизнь все мероприятия, отмеченные в этом договоре, касающиеся закавказских республик, а согласно 16-му параграфу ратификация этого договора должна произойти в Карсе, что и было исполнено 13 октября 1921 года, когда Карское соглашение подписали, с одной стороны, Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, а с другой — Турция.

Карский договор подтвердил Московское соглашение, и в силу его первого параграфа, который аннулировал все прежние договоры между этими странами, Московское соглашение от 16 марта не только не аннулировалось, но и признавалось и утверждалось. Таким образом, как формально, так и по существу Карский договор был повторением Московского соглашения. Однако ему предшествовало одно небольшое, но весьма значительное явление, которое необходимо отметить.

Несмотря на то, что Московский договор аннулировал

все прежние соглашения между Россией и Турцией, Турция, когда дело коснулось закавказских республик, потребовала проведения в жизнь Александропольского (Гумбрского) договора, подписанного с ней под давлением оружия дашнакским правительством Армении, и долго отказывалась вывести свои войска из Александропольского района. (Наверное, точно так же повела бы себя Турция, будь у нее какие-либо соглашения с Грузией). Кроме того, Турция отказалась подписывать договоры с федеративным правительством Закавказья и требовала переговоров с каждой республикой в отдельности. Цель была совершенно ясна: получить как можно больше территорий на Кавказе, но Москва воспротивилась этому, потребовала ратификации договора, и после дипломатической переписки в Карсе, наконец, была созвана конференция, и 13 октября 1921 года Московский договор получил подтверждение.

Московско-Карский договор показывает, что Россия признала «Национальный пакт» Турции и ни во что не поставила договор от 7 мая. Это совершенно очевидно, ибо Московское соглашение от 16 марта опирается именно на «Национальный пакт», первый параграф которого определяет границы между Грузией (Россией) и Турцией. Отсюда логически вытекает и второй параграф, оставляющий при первом прочтении весьма странное впечатление; в нем говорится, что «Турция готова уступить Грузии Батумский порт и город и ту территорию, что лежит севернее границы». Турция уступает! Раз уступает, значит, подразумевается, что и Батуми принадлежит Турции, и она отказывается от него в пользу Грузии, да и то на определенных условиях!

На основании чего Турция присваивает себе Батумскую область? С какой целью доказывает, что Батуми принадлежит ей? Притязания на Батуми исходят из турецкого «Национального пакта»! Именно там говорится, что три санджака — Батумский, Ардаганский и Карский (по условиям Брест-Литовского договора!), якобы, принадлежат Турции. А поскольку принадлежат, то можно же и «уступить» Батуми Грузии?! И при этом оказать покровительство жителям Батумской области и требовать их автономии! И как щедрому и доброму субъекту — Турции — предоставляется право свободного передвижения!

В юридических взаимоотношениях, нашедших отражение в Брест-Литовском и Батумском мирных договорах, в Грузино-русском договоре, «Национальном пакте» Турции и наконец Московско-Карском договоре, очень много недоразуме-

ний и невежества, но это дело формальной стороны. Следует отметить, что Турция упорно опирается на несуществующий Брест-Литовский договор и созданный им прецедент, а Россия признает ее необоснованные притязания, хотя формально и аннулирует все прежние соглашения. Причина этого кроется в «дружбе» двух стран. Общая цель России и Турции — борьба против империалистических государств Антанты, и Грузия с ее тремя «санджаками» должна была быть принесена в жертву этой борьбе!

Что потерял Кавказ в территориальном отношении в результате Московско-Карского соглашения? Территория, согласно этому договору отошедшая к Турции — Карс-Ардагани-Артвини — составляет двадцать четыре тысячи квадратных километров. Грузия потеряла Ардагани и Олтиси и большую часть Батумской области — всего 13046 квадратных километров.

Мы уже не говорим о тех невосполнимых потерях, что понесли мы в лице населения этих земель, мургульских шахт и заводов, морского побережья и богатств орошенной кровью и потом грузин земли, исторической колыбели грузинского государства и грузинской культуры.

21. ПРИГОТОВЛЕНИЯ РОССИИ К НАПАДЕНИЮ НА ГРУЗИЮ И ТУРЕЦКО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД РУССКО-ГРУЗИНСКОЙ ВОЙНЫ

После захвата Азербайджанской (28 апреля 1920 г.) и Армянской (2 декабря 1920 г.) республик для Советской России, естественно, встал вопрос и об оккупации Грузии. Опасаться Европы в этом плане, а тем более Турции, которая сама ждала помощи от России, Москве не приходилось. Интересы России и Турции совпадали, но командующий XI русской армией Геккер все же настаивал на уточнении отношения Турции к плану оккупации Грузии. В своем докладе от 18 декабря 1920 года председателю военно-революционного совета XI армии он писал, что для операций против Грузинской республики необходимо заручиться безусловным дружеским нейтралитетом Турции или кязим-карабекирских войск и подвести к границам столько-то и столько-то войск с российской стороны. Вот, что писал Геккер слово в слово:

«Если военный совет XI армии получит действительные гарантии дружеского отношения к нам со стороны вооружен-

ных сил Кязим-Карабекира, то вопрос оккупации Грузии и Тбилиси, прежде всего, станет более реальным».

С одной стороны Москва тайно подготавливала дружеский настрой Турции по отношению к оккупации Грузии, заручалась ее нейтралитетом, с другой же открыто заверяла весь мир, что она не посягнет на Грузию, уважая ее суверенитет.


Когда английское правительство указало русскому правительству, что оно подвергает опасности Батуми и независимость Грузии, в своем ответе (ноябрь—декабрь 1920 г.) народный комиссар по иностранным делам Чичерин писал лорду Керзону: «Это неправда. Единственная опасность, которая ей (Грузии) грозит, проистекает от Антанты. Россия признала независимость Грузии, Антанта — нет. Русская политика, полностью поддерживая права малых наций на самоопределение, не предъявляет Грузии никаких требований, кроме того, что Батуми в будущем не должен быть занят вражескими силами. Советская Россия не предпринимала и не предпримет ни одного враждебного по отношению к Грузии шага, будь то оккупация Батуми или что другое».

Несмотря на подобное утверждение, Москва, естественно, вооружалась, готовясь к походу на Тбилиси, собирала красные части в советских Азербайджане и Армении и оговаривала «дружеский нейтралитет» Ангоры.

Для обеспечения этого дружеского нейтралитета в начале февраля 1921 года в Москве начались русско-турецкие переговоры. Как только правительство Грузии узнало об этих переговорах, оно тут же пожелало принять в них участие, но его просьба не была услышана.

В то же время, или немного раньше, в Тбилиси прибыла делегация кемалистского правительства, начавшая переговоры с грузинским правительством об установлении дипломатических отношений. В ходе этих переговоров Турция потребовала осуществления своего «Национального пакта». Во время переговоров началась война.

Именно к этому периоду относятся переговоры грузинского правительства с правительством советизированной Армении. В результате на 15 февраля 1921 года была намечена встреча делегатов Армении и Грузии, на которой должны были решиться все спорные вопросы. Но Москва уже решила выступить против Грузии, она не дала встретиться представителям советской Армении и меньшевистской Грузии, и 11 февраля 1921 года советские войска с армянской стороны начали военные действия против Грузии.



Посол Грузинской республики в Ангоре ныне покойный Свимон Мдивани, прибывший в Ангору 31 января 1921 года, 8 февраля того же года вручил свои верительные грамоты правительству Ангоры. Последующие события показали, что грузинский посол, который, конечно, должен был знать, в каких границах признается Турция его страной, отверг положения «Национального пакта» Турции, и спор о границах, начатый в Тбилиси в связи с другими событиями, продолжился в Ангоре, как мы убедимся в этом ниже.

11 февраля Россия напала на Грузию. Девять дней спустя правительство Ангоры, решив ввести свои войска в Ардаганский и Артвинский округа, сообщило грузинскому послу, что 18 февраля 1921 года утром турецкие войска войдут в Артвини.

В тот же день, 18 февраля, Св. Мдивани выступил с решительным протестом против подобных враждебных акций ангорского правительства и потребовал паспорт для возвращения на родину. Ангорское правительство приостановило свои действия, но всего лишь на несколько дней. 21 февраля посол Мдивани получает заявление ангорского правительства о вводе турецких войск в Ардагани и Артвини, на что Св. Мдивани вновь заявляет протест. 22 февраля 1921 года правительство Ангоры повторяет свое заявление; 23 февраля 1921 года Св. Мдивани вновь отвергает притязания ангорского правительства: «Ваше намерение занять территорию Ардаганского и Артвинского округов без согласования с нами есть повторение той великой исторической ошибки, в результате которой старая Грузия, доведенная бесконечными нападениями со стороны старой Турции до отчаяния, подвела к порогу Турции ее неусыпного и жесточайшего врага — Россию, тем самым наказав самое себя. Сегодня история повторяется: в тот момент, когда, с одной стороны, молодая Турция сражается за сохранение своей независимости, а, с другой, молодая демократическая Грузия из последних сил борется за свою свободу и независимость, Великое национальное собрание решает напасть на Грузию. Я заявляю решительный протест против подобного насилия и позволю себе сказать, что после вторжения на территорию Грузии решение любого вопроса, касающегося Кавказа, без ведома Грузии будет невозможным...»

В ответ на эту дипломатическую, но, по существу, простодушную ноту посол Мдивани получает ноту министерства иностранных дел Ангорского правительства, в которой турецкое правительство обосновывает свои права на указанные ок-

руга (Ардагани—Артвини), ссылаясь на Сан-Стефанский договор, Брест-Литовский договор и на уход английских оккупационных войск. Все эти аргументы, естественно, были ложными, поскольку названные договоры уже не действовали, а англичане не передавали туркам ни Ардагани, ни Артвини.

Понятно, что в ответ на эту ноту посол Мдивани вновь выразил протест. Этот дипломатический спор продолжался недолго: оккупация Ардагани и Артвини была отложена лишь на пять дней — с 17 до 23 февраля 1921 года.

В тяжелый для Грузии момент, когда у Тбилиси сошлись части Советской России и грузинские войска, Турция, говоря словами посла Мдивани, которые он адресовал Ангорскому правительству, «задумала вонзить нож в спину соседу» и привела в исполнение свой коварный и вероломный замысел.

В подобной ситуации правительство Грузии и штаб главнокомандующего решили отступить перед турками, направив все силы на борьбу с большевиками. 20 февраля 1921 года главнокомандующий издает приказ:

«С целью сокращения линии фронта и в связи с создавшимся положением вывести войска из Ардаганского и Артвинского округов и ввести их в Ахалцихский уезд и Батумскую область, оставляя за собой Поцховский участок, занять новую границу... Обязательно взять Борчха, немедленно начать переброску войск и закончить ее к утру 21 февраля; принять меры для предотвращения столкновений наших частей с турецкими войсками, которые займут Ардаганский и Артвинский округа...»

Таким образом, не имея возможности одновременно вести войну против Турции и России, главнокомандующий грузинскими войсками предпочел оставить Ардагани—Артвини и все силы бросить на борьбу с Россией.

Грузинское правительство, со своей стороны, выразило протест против действий Турции, заявив правительству Ангоры, что факт занятия Ардагани—Артвини турецкими войсками ни в коем случае не означает, что вопрос этот можно считать решенным.

В документах, опубликованных сперва в 1921, а затем в 1925 годах правительство Грузии высказывалось по поводу этого весьма значительного факта следующим образом: 22 февраля 1921 года большевики получили новую помощь; правительство Ангоры предъявило правительству Грузии ультиматум — немедленно оставить города Ардагани и Артвини. Поскольку правительство Грузии не имело достаточно сил,



чтобы противостоять туркам на новом фронте, оно было вынуждено вывести свои войска из этих городов и вместе с тем заявило, что факт оставления упомянутых городов ни в коем случае не означает решения этого вопроса; оно возможно лишь на основе договоренности или с участием арбитража.

Итак, воспользовавшись безвыходным положением Грузии, Турция отняла у нее Ардагани и Артвини, но этим дело не кончилось.

22. ОБЕЩАНИЕ ТУРЦИИ И ЕЕ ИЗМЕНА

Говорят, главнокомандующий Грузии оставил столицу — Тбилиси — 25 февраля 1921 года из стратегических соображений. Грузинские войска отступили к Мцхета, и большевики вошли в город. Борьба продолжалась параллельно с отступлением в сторону Батуми. Возникла безвыходная ситуация: Грузия оказалась совершенно неподготовленной к безусловно ожидаемой войне. Страна стояла на краю гибели. В это время ангорское правительство объявляет правительству Грузии, что с занятием Турцией Ардагани и Артвини решилась проблема спорных территорий, и ангорские войска готовы прийти на помощь Грузии в ее войне против большевиков. Для этого, как сообщал Кязим-бей Ноэ Жордания, требуется ввод турецких войск со стороны Батуми.

Утопающий хватается за соломинку...

В создавшейся отчаянной ситуации предложение Турции помочь своим участием в борьбе с большевиками, вероятно, было для председателя правительства Грузии равносильно манне небесной. И он дал добро на вход турецких войск в Батумскую область, думая таким образом защитить этот еще не занятый большевиками край и создать милитаристическую базу против России. Это была бесплодная надежда! Как они могли этого не знать?!

Несчастье заключалось в том, что несмотря на договоренность, турки, войдя в Батуми, тут же стали прибирать его к рукам.

Что произошло в Батуми?

На этот счет мы располагаем лишь одним документом — воспоминанием, написанным комендантом Батумской крепости, впоследствии военруком облвоенкомата И. Пурцеладзе. В своих воспоминаниях он описывает, как турецкие войска вошли в Артвини из Борчха, и продолжает:

«4-го или 5-го марта (точно не помню) меня вызвал к себе генерал-губернатор Г. Т. Гиоргадзе и объявил мне, что на



основе договоренности между представителем ангорского правительства Кязим-беем и нашим правительством войска Кемаль-паши должны войти в Батумскую область и стать вдоль границы Батумской области с Озургетским и Ахалцихским уездами. В Батуми турки не войдут. Власть останется в наших руках. Турецкие части не задержатся в области и пройдут вперед, к границам. В те же дни ко мне заявился начальник штаба турецких войск Таланк-бек и предложил мне выполнить следующее: 1) выделить квартиры для 5 000 турецких солдат в восточной части города; 2) квартиры для того же числа солдат в Ачарисцкали; 3) квартиры для штаба войск с учетом 100 человек охраны; 4) подготовить и отправить в Борчха 200 пудов хлеба; 5) выделить в распоряжение штаба две легковые машины. Кроме того, он попросил ответить на вопрос: в какой срок я могу передать турецкому командованию крепость и вывести грузинское войско из области. На этот вопрос я не дал ему ответа, поскольку не имел никакой инструкции не только по поводу выполнения этого требования, но и ведения переговоров на этот счет. Что же касается требований относительно квартир, хлеба, автомобилей и другого, инструкцией предписывалось по мере возможности удовлетворять их. Так что я старался делать все, что было в моей власти. Обеспечить квартирами 5 000 человек в короткий срок было невозможно. Инженерное управление не смогло подыскать соответствующее жилье, и мы были вынуждены поселить турецких солдат в одном из корпусов барцханских казарм, которые занимала народная гвардия. Там могло уместиться только 500 человек. Хлеб пекли в наших пекарнях и доставляли на грузовиках и подводах в Ачарисцкали и Борчха. Предлагаемые нами квартиры для штаба турецких войск не удовлетворяли турок то из-за тесноты помещений, то из-за их неблагоустроенности. Они требовали для штаба помещение, в котором находилось инженерное управление. Вообще требования и капризы турецкого командования с самого начала показались мне подозрительными. Турки почему-то запаздывали со входом в Батумскую область. Первый эшелон с их войсками — две роты пулеметчиков (всего около 500 человек) прибыл 11 марта в 11 часов. Мусульманское население Батуми встретило турецкий отряд с большим энтузиазмом, огромная толпа людей проводила его с восторженными выкриками и флагами.

В тот же день от народной гвардии стали поступать жалобы на произвол турок, и во избежание столкновений между ними, после неоднократного сращения в штаб турецкого ко-

мандования, я был вынужден вывести народную гвардию из барцханских казарм на площадь Азизие, а казармы полностью уступить туркам.

В течение нескольких дней, после того как решился вопрос о входе турецких войск в Батумскую область до их фактического прибытия (4—5-ти дней), в учреждениях города царило волнение, все опасались, что турки не выполнят слова и не займут область. Это опасение я почувствовал, между прочим, и при разговоре с генерал-губернатором Гиоргадзе. Турецкий отряд, состоящий из двух рот пулеметчиков, прибыл в Ачарисцкали из Борчха 10 марта. Небольшие группы были направлены в Хуло и Кеда. Следующий эшелон с турецкими войсками вместе с командиром батальона (Бек-пашой) прибыл в Батуми вечером 12 марта. И третий, приблизительно из 500 человек — в ночь с 15 на 16 марта. Мы ждали следующих эшелонов, но они так и не пришли до занятия красными частями Батуми. Всего турецких войск в Батумской области набралось приблизительно до трех с половиной тысяч, из них на Чорохи и границе с Озургетским уездом стояло до 200 человек, в Ачарисцкали — 500, остальные находились в пути от Лимана до Батуми (этим путем шли все эшелоны из Хопи в Батуми). В течение всего этого времени турецкое командование не вмешивалось в наши внутренние дела. Присылало патрулей, которые вели наблюдение за турецкими солдатами. В это время из Кутаиси прибыл Кязим-бей. В последние дни накануне вторжения советских войск в городе царила атмосфера страха. Поведение Кязим-бея и турецкого командования, их тайные встречи с представителями аджарцев, постоянное пребывание у Кязим-бея представителей Горского правительства — Гайдара Бамматова и Ахмета Цаликова — давали все основания полагать, что турки что-то замышляют. Подозрение усиливалось то, что стоящие на Ачарисцкали турецкие отряды не пускали нашу разведку в сторону Годердзского перевала. Турецкое командование утверждало, что в районе Ахалцихе красных войск нет, но по сводкам, полученным ранее из Хуло, мы знали, что к Годердзскому перевалу со стороны Ахалцихе движутся красные части, даже указывался номер полка — 105.

15 и 16 марта все войска были в полной готовности: ночью усиливалось патрулирование, назначались дежурные части. Ходили упорные слухи, что турки готовятся ночью разоружить грузин и вооружить аджарцев. Мы ждали этого каждую ночь. 16-го (марта) ночью мы узнали, что турки собираются 17-го числа занять форты № 2 (Кахабери), № 4

(Маленькая Троица), и блокгаузы; Квецелури, Торартосирти, Самеба и Анариа. Утром наши части заняли Кахабери с горной батареей и 300 пограничниками, половину форта № 1 (Амодаве), блокгаузы — Самеба и Анариа; мы не сумели занять форт № 4 и половину форта № 1, блокгаузы Торартосирти и Квецелури; поскольку там оказались турки, которые пришли туда днем раньше. 17 марта с 12-ти часов мы получили сводки о том, что турецкие войска уходят из барцханских казарм в разных направлениях, а немного погодя из фортов, занятых нашими войсками, пришло сообщение, что турки требуют освободить форты и впустить их внутрь. Для того чтобы избежать вооруженного столкновения; мне в течение дня пришлось встретиться несколько раз с Кязим-беем, турецким командованием, нашим военачальником Квинитадзе и председателем правительства Жордания. Был на фортах с делегатом турецкого командования, пытался уладить конфликт. Турки настаивали на том, чтобы их пустили в форты, уже не требуя нашего выхода, мотивировали это тем, что грузины и турки братья и делают одно дело. Но они наотрез отказывались отвести свои части назад, хотя бы на полверсты, для того чтобы мы могли расквартировать их, и вместе с тем не пускали вперед наши роты, еще не успевшие занять свои позиции; не пропускали наших в форт № 4, окружили блокгауз Самеба, где уже находились наши части.

Я чувствовал, они готовят нам какой-то подвох, но всячески старался не допустить столкновения. Я приказал своим частям избегать обострения отношений: на занятые нами позиции турок не пускать, а на их враждебные действия отвечать силой. 17-го и 18-го вечером столкновений на фортах не было. Они начались 19-го утром.

17-го в десять часов вечера турки (40 человек) заняли почту, телеграф и телефонную станцию; через полчаса — управление городской милиции и районное отделение милиции. В городе усилилось патрулирование. 17-го в Батуми был сформирован временный ревком, который к 9-ти часам вечера перешел в помещение штаба крепости и вместе со мной руководил спасением города от занятия его турками. Мы собрали находящиеся здесь войска у штаба крепости, послали по всему городу патрули и разъезды. Вечером на Кутаисской улице начали грабить духаны. Наши патрули и разъезды хватали грабителей и расстреливали их, награбленное отнимали. Ровно в 12 часов ночи мы получили приказ Кязим-бея, в котором Батумская область объявлялась присоединенной к Тур-

ции, а сам Кязим-бей провозглашался генерал-губернатором. Нашим войскам в течение двадцати четырех часов предлагалось сдать оружие и оставить пределы области. Мы ничего не ответили на этот приказ. Всю ночь наши части стояли в Карауле. Наши патрули и разъезды при встрече с турками открывали огонь, под конец турецкие патрули исчезли. Турки попытались было занять здание штаба крепости, но у них ничего не вышло. Утром начались боевые действия на фронтах. На рассвете турки заняли здание радиотелеграфа и пытались взять здание инженерной роты, но не смогли. На рассвете же турки внезапно ворвались в Кахабер и разоружили часть наших солдат, но очень скоро их выбили оттуда. В 12 часов прибыл первый эшелон с русскими красными частями (192 полк), вечером 18-го, 19-го и 20-го полки Жлобской бригады вели стрельбу на фортах. Но 21-го мы взяли в плен все турецкое войско и разоружили его».

Такова история Батуми, как она описана комендантом батумской крепости И. Пурцеладзе, который затем продолжил свою службу в большевистской армии.

Что вытекает из рассказа И. Пурцеладзе? Мы не знаем, полностью ли соответствует он истине, но то, что определенная доля ее здесь есть, несомненно. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: турки обещали правительству Грузии свою помощь в защите Батумской области от большевиков. Для этого им нужно было укрепиться на этой, свободной от русских, территории, а затем они вместе с грузинами продолжили бы борьбу против вторгшейся России. Турки обманули правительство Грузии, изменили ему.

Здесь поражает наивность и политическая незрелость правительства Грузии, и в частности ее председателя. Что дало ему основание думать, будто турки будут проливать кровь ради потерпевшей крах его республики да еще в борьбе против уже дружественной им России? Разве он не знал, что Турция давно уже связывают дружеские отношения с Россией и даже тогда она вела с ней переговоры?! Разве он не знал, что турки постоянно претендовали на Батумскую область и никогда не удовлетворялись Ардагани—Олтиси?! Разве он не знал, что Турции доверять нельзя?! И тем не менее поверил турецким посулам, простодушно доверился им и впустил турок в Батумскую область. Здесь следует четко оговорить; правительство Грузии и его посол не передавали Турции никакой территории, но они проводили в высшей степени близорукую политику, весьма осложнившую положение Грузии в Месхети. Наив-

ность, политическая близорукость, дипломатическое поражение грузинских политиков отнюдь не освобождают правительство Турции от ответственности за измену грузинскому народу. Вместо того, чтобы, как было условлено с Кязим-беем, помочь грузинам, турки потребовали разоружения грузинских войск и сдачи батумских укреплений. А 17 марта 1921 года командующий турецкими войсками Кязим-бей расклеил по городу Батуми прокламации следующего содержания:

«С согласия правительства Грузии Батумская область и Ахалкалакский и Ахалцихский округа заняты нашими войсками. Согласно постановлению Великого национального собрания Турции, которое опирается на национальные права, неоднократно подтвержденные договорами различных времен, эта территория отныне возвращается в пределы родной страны и подчиняется политически и административно национальному правительству Турции».

Как видно из этого заявления, турецкое правительство имело претензии не только к Ардаганскому и Артвинскому округам, но и к Ахалкалакскому и Ахалцихскому уездам, и ко всей Батумской области впридачу. Таким образом, делая это заявление, кемалистская Турция возвращалась к политике султанской Турции, в силу которой вся Месхети должна была принадлежать ей.

Ни одного слова правды в этом вероломном заявлении Кязим-бея нет. Правительство Грузии не передавало Турции ни Ахалкалаки, ни Ахалцихе, ни Батумскую область, ни Ардагани, ни Олтиси! Ни одна пядь этой земли не признавалась каким-либо договором объектом «национальных прав Турции». И если после поражения Грузии в войне 1918 года Турция на короткое время оставила за собой Месхети, то после поражения Турции Грузия вернула ее себе, ибо только Грузия имеет на эту землю национальные права. Поэтому совершенно естественно, что подобное заявление Кязим-бея после очевидной измены оскорбило грузинские национальные чувства, и грузинское войско, побежденное, дезорганизованное, само начало в Батуми военные действия против турок и одержало над ними победу.

23. ОПРАВДАНИЕ ТУРЕЦКОЙ ИЗМЕНЫ «ИСТОРИЕЙ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Уже из этого краткого обзора видно, что в интересах кемалистской Турции и Советской России было уничтожение Грузинской республики. Вопрос заключался только в том, как

это должно произойти. Обе стороны клялись Грузии в дружбе, одновременно роя ей могилу, и в тот момент, когда судьба республики была решена, Советская Россия подвела свою армию к ее границам, а Турция снарядила войска и подготвила ультиматум. Результатом этого насилия явилось занятие турками Ардагани и Артвини и после клятвенного обещания правительству Грузии, вовлеченному в неравную борьбу, дружбы и преданности — оккупация самого Батуми! Именно в это время Турция ведет в Москве переговоры с Россией, требуя у нее грузинские земли. На основании чего?!

Эти «основания» четко сформулированы в заявлении, сделанном Кязим-беем в Батуми. Месхети принадлежит Турции, это подтверждено многочисленными договорами! В то время как ни один из этих договоров не был настоящим — ни Брест-Литовский мир, ни Батумский не проводились в жизнь, и оба через четыре месяца после их подписания были аннулированы. Таким образом, формальной стороны не существовало, и в качестве документа она не могла быть использована. Но несмотря на это Турция упорно апеллировала именно к этим аннулированным и всеми отрицаемым и отвергнутым договорам и сегодня стоит на том же.

Турецкая официальная история ныне повторяет это положение. Вот, в частности, что говорится в известной «Истории Турецкой республики»:

«После поражения армянских войск турецкие войска вступили на Кавказ и завязали отношения с Грузией. В июле того же года англичане эвакуировали свои войска из Батуми, и грузины, претендовавшие на этот город, немедленно послали туда свои отряды. Поскольку это действие противоречило параграфам Брест-Литовского договора, заключенного еще до окончания общей войны между Советской республикой и Турецкой империей, а также параграфам договора, подписанного в Трапезунде Турецкой империей и Грузией, правительство Великого национального собрания выразило протест грузинскому правительству и потребовало вывода грузинских войск из Батумской области. В конце концов, в результате переговоров с послом грузинского правительства в Ангоре, грузины были обязаны (вынуждены) согласиться на то, что Ардагани, Артвини и Батуми остаются в турецком управлении. Патриотически настроенное население этих округов, нетерпеливо ожидавшее соединения с Турцией, торжественно встретило турецкие войска (март 1921 г.); впрочем, Батуми остался за Грузией согласно договору между Грузией и Москвой, ко-

торый был подписан после вступления этой страны в Союз Советских Республик, в то время как Ардагани и Артвини были присоединены к Турции...»

Так турецкая история интерпретирует последние события — ни слова правды, ибо даже поверхностное чтение выявляет ложность каждого положения, приведенного в ней. И действительно:

1. Не существовало никакого Брест-Литовского договора. Он был аннулирован: самим советским правительством 20 сентября 1918 года; Мудросским временным миром (параграф 11), заключенным с Турцией 30 октября 1918 года; силок общего замирения или амнистии от 18 ноября 1918 года; правительством Советской России вторично 13 ноября 1918 года; Версальским мирным договором 19 июня 1919 года; договором Советской России от 16 марта 1921 года;

Правительство Грузии никогда не ратифицировало Брест-Литовский договор и связанный с ним Батумский мирный договор; они никогда не входили в силу.

На основании многожды аннулированного Брест-Литовского мирного договора кемалистская Турция не могла и не может утверждать свои права на Ардагани—Батуми—Карс. Занятие грузинами Батуми не противоречило никакому договору.

2. Упомянутый Трапезундский договор никогда не существовал. Было Батумское соглашение от 4 июня 1918 года, никогда так и не утвержденное и аннулированное после мировой войны. Таким образом, занятие грузинами Батуми не «противоречило» и Батумскому договору.

3. Батумская область — принадлежность Грузии, что подтвердила и Россия в договоре от 7 мая 1920 года; это признала и Англия, когда 4 июля 1920 года официальным актом передала Грузии Месхети, в частности Батуми. Таким образом, отправка грузинами своих войск в Батуми не «противоречила» ни условиям Брест-Литовского мира, ни параграфам измышленного «Трапезундского мира», ни вообще никому и ничему. Грузия вернула себе свои земли.

4. Представитель Грузии в Ангоре покойный Свимон Мдивани не заключал с Турцией никакого соглашения, в силу которого, якобы, Ардагани, Артвини и Батуми отходили к Турции. Из существующих документов видно, что турецкое правительство силой, ультимативным путем заняло Ардагани—Артвини во время грузино-русской войны, а правительство Грузии признало этот факт незаконным. Впоследствии войдя в Ба-

туми под предлогом оказания помощи в борьбе с Россией и развития дружественных связей, Турция совершила тягчайшее предательство по отношению к Грузии.

5. Официальная турецкая история утверждает, что Батуми остался за Грузией в результате грузино-московского договора, который был заключен «после вхождения этой страны (Грузии) в Союз Советских Республик». И это ложь!

Грузия по своей воле не входила в Советский Союз; Советская Россия оккупировала Грузию; это был акт насилия и принуждения; помимо всего прочего, Московское соглашение было подписано 16 марта 1921 года, к тому времени Батуми вновь принадлежал Грузии: в тот день в Батуми находилось правительство Грузии. Такова формальная сторона.

Как видим, официальная история Турции абсолютно лживо излагает коварные и вероломные действия Турции против Грузии, когда, воспользовавшись отчаянным положением последней, она отняла у нее часть территории. Все это происходило в то время, когда представители Турции за спиной у Грузии сговаривались с Москвой уничтожить Грузию. Эта объединенная агрессия, поражение на дипломатическом и военном фронтах физически погубили Грузинскую республику, а вместе с нею и свободу грузинского народа.

24. ТРЕХЛЕТНЯЯ БОРЬБА ЗА МЕСХЕТИ

На основе вышеприведенного материала можно было бы сделать важные выводы. История последних трех лет жизни Закавказья, и в частности Грузии, диктует нам не увлекаться модными ныне высокими идеями конфедерации и смотреть правде прямо в глаза; та же история показывает, как одинока Грузия, когда вопрос касается добровольного государственного устройства Кавказа; какими разными путями шли наши соседи, сознательно разрушая единство Кавказа — в первую очередь это касается Азербайджана, который мечтал не о едином Кавказе и собственной самостоятельности, а о Турции и жертвовал своими интересами ради нее. Тот же исторический опыт показывает, что соседи пытались всячески урезать территорию Грузии, тем самым ослабить ее, и сил для этого не щадили; он же объясняет нам, почему потерпела поражение Грузия, ставшая жертвой двойственных нерешительных мер в области внешней политики; короткий вчерашний опыт ясно показал нам слабость и неподготовленность правительства Грузии в его действиях в отношении России; а также и то, что Турция и сегодня является неусыпным врагом Грузии. Мож-

но было бы сделать еще немало косвенных выводов на основе вышензложенного, но для нас, как явствует из данного очерка, во главе угла остается вопрос Месхети...

Кому принадлежит Месхети — это бесспорный для нас вопрос. Месхети — неотъемлемая часть Грузии в географическом, историческом, геополитическом, расовом, национальном отношениях.

Воссоединение Месхети с Грузией во времена Российской империи — это возвращение братьев, как писал Илья Чавчавадзе, и вся Грузия приняла месхов именно так. И вместе с территориальным возвращением началось национально-культурное сращение с матерью-Грузией. Этот процесс не был завершен еще во время мировой войны, поскольку восприятию грузинского национального сознания и культуры в Месхети мешали, с одной стороны, российское правительство, проводящее свою русификаторскую политику, русская церковь, борющаяся с мусульманством; и с другой, сама Турция, привлекая к себе часть населения Месхети своей проповедью панисламизма и пантюркизма. Итоги этой политики дали о себе знать во время мировой войны, в процессе аджарцев, когда русское правительство начало усиленное преследование грузин-мусульман, а после вторжения Турции на Кавказ некоторые круги мусульман, обманутые и оболваненные проповедями турецких агентов, взяли сторону Турции и делали все, чтобы претворить в жизнь ее панисламистские устремления. Перед такими тяжелыми и сложными вопросами стояла Грузия в период мировой войны и революции.

Практически впервые вопрос о Месхети встал в связи с Брест-Литовским миром, затем в Трапезунде и Батуми. Мы уже говорили о том, что отказ Закавказской республики участвовать в переговорах в Брест-Литовске был ошибкой. Присутствие в Брест-Литовске способствовало бы, с одной стороны, быстрому и в формальном отношении выходу из Советской России и, стало быть, своевременному созданию государства, которое могло говорить от своего имени; с другой стороны, позволило бы умерить аппетиты Турции с помощью той же Германии, которая оказала бы формальное покровительство вновь созданному закавказскому государству, оберегая его как от Советской России, так и от Турции. Этой точки зрения я придерживаюсь и сегодня.

В Брест-Литовске Турция формально получила Карс-Ардагани-Батумские земли — часть грузинской Месхети и армянский Карс. Закавказский сейм и правительство, которое

фактически представляли грузинские силы, в один голос отвергли Брест-Литовский договор, но это отрицание по существу не было твердым и единодушным, ибо Азербайджан и многие мусульмане вели двойственную и лицемерную политику по отношению к Турции, с одной стороны принимая грузино-армянскую политику, с другой же — оказывая Турции военную, политическую и моральную помощь. Азербайджан вообще не пожелал отвергнуть Брест-Литовский мирный договор и, когда понадобилась защита границ Кавказа, выделился из общего фронта, в результате чего и распалась Закавказская республика. А причиной этому был вопрос Месхети.

Могло ли политическое руководство Грузии передать Турции большую часть Месхети, всю Батумскую область? Имело ли оно на это юридическое, политическое, моральное или национальное права? Нет, не имело, ибо Брест-Литовский договор был подписан правительством Советской России, которое закавказское правительство не признавало; ибо грузинское сознание и мышление считает Месхети Грузией и включает ее в пределы своей политики; ибо по историческому сознанию и расовому инстинкту христианская и мусульманская Грузия была и есть одно целое, и отданную или проданную чужой рукой Месхети Грузия никогда не предала бы; ибо в географическом, стратегическом, экономическом, политическом отношениях Месхети — неотъемлемая часть Грузии; ибо в грузинском сознании не дремлет древний грузинский дух, память о могилах, храмах, остатках древней культуры, о Руставели.

Эти реально-политические устремления и национальный мистицизм испытали все, кому довелось пережить то время. Создание великой Грузии, объединение всех ее уголков — великая цель, во имя которой были принесены немалые жертвы. Мы склоняем голову перед героями, погибшими в этой борьбе.

Борьба грузин была не понята иностранцами. Но иностранцы не знают грузинской истории, не понимают грузинских национальных интересов. Поэтому неудивителен взгляд, который высказал, в частности, один англичанин, г-н Бехофер: «Свободное и независимое социал-демократическое Грузинское государство навсегда останется в моей памяти как классический пример маленького империалистического организма, который характеризует как захват территорий за его пределами, так и бюрократическая тирания внутри страны. Его шовинизм выходит за все рамки». Если бы автор этих строк хоть немножко разбирался в жизни Грузии, он не дал бы такой оценки борьбе грузинского народа за целостность своей террито-

рии. Прислушайся правительство Грузии к мнению таких лиц и доверься им, оно должно было бы отказаться от всей Месхети, Саингило, Борчало, Абхазии, всей «Юго-Осетии», и что было бы тогда Грузией?! Всего два уезда? Тогда Грузия должна была бы отказаться от самой себя, убить себя собственной рукой, отбросить мысль о государственном существовании, как злую и несчастную. Но грузинский народ оказался способным к жизни и борьбе; его национальный инстинкт сам нашел путь к восстановлению грузинского государства, к самозащите. А это невозможно было без кровопролития, и он защитил Саингило, защитил Абхазию, защитил «Южную Осетию», защитил Борчало и яростно защищал Месхети. Мы убедились, первой, кто претендовал, кто боролся за Месхети, была Турция, которую поддерживал Азербайджан и часть мусульманского населения вообще; в первой войне против Турции Грузия потерпела поражение. Она потеряла почти всю Месхети, но не примирилась и продолжила борьбу на дипломатическом поприще.

Ход событий мировой войны привел к тому, что Месхети вновь воссоединилась с Грузией. Но теперь на ее очень большую часть стала претендовать Армения; она пожелала включить Месхети в свои пределы. И на этот раз Грузия кровью защитила свою землю.

Подняли головы внутренние враги, турецкие и иные агенты, организовывавшие восстания в Месхети, к этому прибавились дипломатические интриги и наскоки. И на этот раз Грузия вышла победительницей. Весь грузинский народ поддерживал свое правительство в его борьбе за восстановление целостности территории Грузии. Он шел на соответствующие жертвы, борясь с оружием в руках. Однако Грузинская республика все же пала, и ею вновь завладела Россия. И борьба за территории, за границы тут ни при чем.

Причин падения и гибели Грузинской демократической республики не одна и не две, как внутренних, так и внешних. Но это не является предметом нашего сегодняшнего разговора, хотя из вышеизложенного ясно, что в создавшейся тогда международной обстановке Грузия, изолировавшая себя договором с Россией от 7 мая, стала жертвой турецко-русского альянса, Грузия оказалась неподготовленной к борьбе с Россией с оружием в руках, да и велась она правительством и войсками не на должном уровне. И те и другие — виновны и ответственны за поражение Грузии.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ



Спектакль о любви и коварстве

Любовь, коварство! Время ли сейчас всем нам, вступившим в экстремальную стадию нашего бытия, испытавших, как говорится, на собственной шкуре (а сколько испытаний еще впереди!) все прелести несбывшихся и лживых обещаний, пристало ли нам, обманутым в своих надеждах людям, вникать в любовные перипетии давно минувших лет, с умилением прислушиваться к летящим со сцены столь несовременным словам о пылкой любви, мучиться коварством и подлостью из мира прошлого (не хватит ли своих собственных?).

Но в том-то и дело, что и любовь человеческая и человеческое коварство не существуют в абстракции, им не дано быть обособленными от общества, от тех законов, по которым это общество живет. Заглядывая вглубь шиллеровской трагедии, мы неизбежно ищем (и находим) отзвуки ее проблем в нашем сегодняшнем бытии, в нашей, исполненной тревог, душе.

И все-таки, не стоит преувеличивать значение подобных отзвуков и искать в них (как это делают некоторые критики) прямые, а потому неизбежно «вульгарные» параллели с сегодняшними «взрывными» ситуациями, (один критик вообще некстати помянул даже диссидентство), взывать к конфликту между политикой и нравственностью. Оно, может, и верно, но отнюдь не исчерпывает смысла этого живого, трепетного спектакля, напротив, суживает его горизонты — прямые параллели и аллюзии, как правило, оборачиваются тупиковыми выводами, мешают разгадать живую ткань спектакля. Вот почему гораздо логичнее взглянуть на спектакль не с точки зрения его «созвучности» или «несозвучности» современности, а с точки зрения **вечного во времени**. Недаром в нем «душа с душою говорит» и одаряет нас человеческой и сценической правдой. Но об этом — ниже.

Трагедия Шиллера «Коварство и любовь» достаточно известна современному зрителю. В прежние годы ее часто ста-

вли на сцене, актеры любили в ней играть, а мелодраматический оттенок ее отнюдь не снижал трагедийных интонаций — страсти бушевали по-шиллеровски и неизменно будоражили чувства зрителя.

Сегодня, в наше бурное, политизированное время пьеса почему-то редко стала появляться на сцене, словно бы интерес к ней с годами снизился, а между тем, как всякое классическое творение, «Коварство и любовь» не утратила ни смысла своего, ни силы воздействия на зрителя. Вероятно, это хорошо чувствовал Г. А. Товстоногов — в последние годы жизни он думал о ее постановке на сцене своего театра. К сожалению, планы его остались неосуществленными.

Трудно безошибочно утверждать, каким представлялся спектакль режиссеру, что именно думал он вынести во главу угла своего замысла. Возможно, ненависть к мещанству? Слишком уж много развелось его рабов в нашем «благополучном» социалистическом мире. Обуреваемый этими чувствами ставил он горьковских «Мещан» и был уверен, что в своем «современном» облици мещанство — явление опаснейшее. Уверенность приводила его не к внешним противопоставлениям «отцов» и «детей», а к вскрытию психологии мещанства с точки зрения мещанской и ей противоположной среды. Ставил он «Три сестры» Чехова, где с той же силой обрушился на мещанский дух, ворвавшийся в семью Прозоровых, и сделал чуть ли не главными героями Андрея и Наташу.

Впрочем, не будем гадать, каким получился бы неродившийся товстоноговский спектакль, важнее подчеркнуть, что сам Товстоногов еще с юных лет был явно «заражен» пьесой Шиллера. В Тбилисском русском театре юного зрителя, где он в те годы работал, шел замечательный спектакль в постановке Н. Я. Маршака — первого учителя и наставника Георгия Александровича. Об этом спектакле по сей день живет память в сердцах зрителей. И нет сомнения, что думая о пьесе Шиллера, он отдавал дань и своим юношеским впечатлениям, и памяти дорогого ему человека.

Нет с нами Товстоногова. Нет его спектакля «Коварство и любовь». В раздумьях о том, как жить дальше без руководителя, сотворившего современный облик Большого драматического театра, творческий коллектив решил обратиться к грузинскому режиссеру Темуру Чхеидзе, который по всем предположениям мог бы оказаться близким театру. Близким по духу, по театральному происхождению, по «династии», наконец. А «династия» Товстоногова (и в частности, в Грузии)

имеет уже длинную и достаточно проторенную дорогу. От Товстоногова — к М. Туманишвили, и от него к его уже прославленным ученикам — Т. Чхеидзе и Р. Стуруа, а дальше — к М. Кучухидзе, Н. Эшбе, Т. Абашидзе, Г. Кавтарадзе, Н. Лордкипанидзе, Д. Кобахидзе, а затем еще дальше — к Ц. Накашидзе, Н. Багратион-Грузинскому, В. Николадзе и уж к совсем молодым — Ир. Жгенти, О. Эгадзе, Г. Габилая, З. Сихарулидзе, другим. Такова далеко неполная грузинская «генеалогия» товстоноговско-туманишвилевской школы.

Школа! Случилось так, что за день до спектакля мне довелось быть оппонентом по докторской диссертации одной из учениц Г. А. Товстоногова — И. Б. Молочевской «Режиссерская школа Товстоногова». И, хотя защита шла, как говорится, сама по себе, а спектакль — сам по себе, было что-то символическое в этой, казалось бы, непреднамеренной перекличке событий — ведь то, о чем писалась диссертация и чему посвятил всего себя Товстоногов, обучая учеников в своей режиссерской школе, оживало в эти дни на сцене его же театра волей его «внучатого ученика» Темура Чхеидзе. «Родство душ», логика преемственности заведомо сулили удачу. Но риск оставался риском — законы театра поистине неисповедимы.

Замечу сразу же: мне нелегко писать об этом спектакле. Тому причиной не только то, что видела я его всего один раз — для уточнения мельчайших нюансов, деталей, штрихов столь серьезной работы этого явно недостаточно, — но трудность состоит и в том, что смотрела я спектакль из боковой ложи дирекции, откуда не только не видна добрая четверть сценической площадки, но где каждую минуту думаешь о том, как бы не свернуть себе шею.

Впрочем, по неписаным законам профессии критику положено ориентироваться в любых, «предлагаемых администрацией обстоятельствах» и уметь домысливать то, что она, администрация, так тщательно пыталась от критика скрыть. А жаль, ибо спектакль, поставленный «грузинским квартетом» (постановщик Т. Чхеидзе, художник Г. Алекси-Месхишвили, композитор Д. Туриашвили, сценическое движение Ш. Схиртадзе, а с ними вместе и режиссер В. Шабалина), заслуживает самого пристального внимания и такого же пристального и настойчивого вхождения в его сложный и далеко не ординарный мир.

Впрочем, что там ни говори, а мне удалось главное — унести из театра восторженное чувство от соприкосновения с

«большим искусством и запечатлеть в душе образ спектакля, его дыхание, его духовность. Согласитесь, подобное не так уж часто случается при наших встречах с современным театром...

«Грузинский квартет» работал дружно и ритмично, с полной отдачей и полной ответственностью, методично и кропотливо, добиваясь точного попадания в цель, которая для всех была единой. И коллектив это принял, подхватил, услышал. В трудных условиях сиротства преодолел он психологический барьер, подготовив себя ко встрече с новым постановочным коллективом. Актеры сумели мобилизоваться, напрячь все силы, опыт, наконец продемонстрировать школу, щедро подаренную учителем, и с завидной легкостью взмыть высоко, туда, где, говоря словами Поэта, «кончается искусство и дышит почва и судьба».

Трагедия и легкость? — спросит читатель. Можно ли представить такое? Наверное, можно, ибо ощущение легкости, полетности (и это при всей поверженности нашей в давящую бездну событий) связано вовсе не с тематическими (читай: трагическими) коллизиями, в которые попадают на сцене герои Шиллера. Ощущение легкости рождается от проникновенной и тонкой актерской игры, от воли и пристального, зоркого режиссерского глаза, от умения режиссера сладить с многоголосием актерских индивидуальностей, придать им стройность, одарить их сценической свободой, особой, «нетрадиционной» пластической образностью. И, если вновь возвратиться к понятию школы, или точнее, к ее азам (к сожалению, далеко не всем режиссерам еще доступным), то смело можно сказать, что в спектакле Т. Чхеидзе налицо четкая выстроенность сценического действия, рожденная такой же четкой инсценизацией шиллеровской трагедии. Суть инсценизации в том, что в ней проявилось отношение режиссера к тексту, а это в свою очередь воплотилось в своеобразной «раскадровке» текста, в четком отборе необходимого, в сознательном акцентировании и укрупнении отдельных сцен, в умении подать их — да, да, как в кино — крупным планом.

Так рождалась гармония спектакля, совершенство его композиции. Они дают о себе знать с первых же сценических «кадров». Гармония-владыка не допускает на сцену ни бесполезной красоты, ни небрежных случайностей, ни душещипательных, а потому коробящих «взрывов» эмоций и надуманности в общем сценическом антураже. В этом спектакле, сочиненном по Шиллеру, не встретишь надрывного, романтического пафоса, патетических, импозантных речей, голого,

тенденциозного, «рупорного» противопоставления добра и зла. Патетика в нем оборачивается духовностью, подчинена железной режиссерской логике и правилам хорошего сценического тона.

Режиссером начисто отвергается традиционность прочтения текста. Он не делит героев по принципу добрых и злых. Для него все они — люди, попавшие в беду. У каждого — своя беда, своя душевная боль, свои привязанности. Иногда — роковые.

Нетрадиционность проглядывает во всем. Например, в решении сценического пространства, а точнее — в нахождении образа спектакля. Обрамляющими действие «контурами» стали два его фона — массивный, тяжелый, давящий занавес и воздушные белые занавески. Попеременно сменяя друг друга, они как бы «отсекают» то одно, то другое пространство сцены, вынося на ее поверхность «приметы» богатства и бедности любви и коварства, жизни и смерти. Да, именно приметы, а не нагромождение житейских подробностей. И все это вместе взятое — и тяжелый занавес, и исполненные полета воздушные занавески, и приметы обстановки словно единоборствуют между собой, как две несовместимые грани бытия, как два мира, которые никогда не сойдутся. Символика? Отчего же и нет. Но символика, которая существует в спектакле не сама по себе, не для красоты и бестактности (как далек от подобных проявлений наш замечательный художник Г. Алексис-Месхишвили!), а как «стена несущая», которая всякий раз помогает режиссуре и актерам обрести необходимое внутреннее самочувствие, логику поступков, свободу действия. Актерам удобно и вольно в этих декорациях. Это тот случай, когда декорация создает атмосферу и ритм спектакля, выступает как неотъемлемая часть режиссерского замысла, всех его параметров. В параметры вписывается и непрерывность действия. В спектакле нет подчеркнутой смены картин, а потому действие абсолютно лишено дробности. Один эпизод переходит в другой с какой-то особой, элегантно-изящной плавностью. В ауре этой плавности живут и актеры со своей, тоже особой, пластикой, заданной режиссером (здесь следует отметить тонкую работу опытного мастера сценического движения Ш. Схиртладзе). И снова на ум приходят знакомые поэтические строки о том, как «свой балет... вершила легкость».

Легкость балетная заявляет о себе с первых же моментов спектакля — с первой встречи Луизы и Фердинанда. Собственно говоря, это — не встреча. Напротив, здесь все свиде-

тельствует о разобщенности героев. Луч света, направленный из люка, помогает нам различить две фигуры, чинно сидящие на стульях у самой авансцены по обе ее стороны, возле кулис — справа и слева. Это Луиза и Фердинанд. Кажущийся диалог оборачивается монологами каждого из них. Исповедальность монологов — предельна, тема, их объединяющая — любовь. Но вот, по воле режиссера, Луиза и Фердинанд должны обменяться местами — медленно и плавно направляясь навстречу друг другу, они словно плывут по сцене и, сойдясь на середине... проплывают мимо в разные стороны. Режиссерская метафора воспринимается как предзнаменование, как путь героев в никуда. Как знак беды, нависшей над ними. Но само движение, его контуры, его абрис просятся в невольно возникшую ассоциацию с классическим балетным па: по рисунку — падекатр, по количеству лиц — па-де-де.

Белинский некогда заметил, что роль Луизы не может одушевить артистку с истинным и глубоким дарованием. Белинский имел в виду совершенно конкретный пример, но чудный дар Театра способен опровергнуть даже Белинского.

Елена Попова разгадала загадку Луизы, а следовательно, смогла преодолеть ту трудность на пути к образу, которая была преградой к его всестороннему охвату. Не этой ли всесторонности образа отдавал дань сам драматург, когда давал первоначальное название трагедии — «Луиза Миллер»? Он выдвигал Луизу на первый план, а следовательно, взваливал на ее плечи отнюдь не только «голубую», страдальческую миссию, но давал ей нагрузку куда более сложную. Драматург наделил ее правом быть личностью, достаточно мужественной, способной выдержать натиск и самой дать бой за свое достоинство и счастье. И Е. Попова сполна это право использует. В ее Луизе легко ранимая, светлая душа, нежная, хрупкая женственность сочетаются с трезвой разумностью и ощущением достоинства своей любви. Актриса наделяет Луизу энергией и мужеством, способностью отстаивать свою правду и свои права. И даже там, где Луиза отступает и предпочитает борьбе — смерть, чувствуешь в ней и силу, и гордость, и стать. Признаться, в такой завершенной трактовке мне впервые довелось увидеть этот шиллеровский образ.

Под роль Луизы и Фердинанд — Михаил Морозов. Режиссеру мыслился этот образ в полном согласии с образом Луизы. Иначе и быть не могло. М. Морозов играет темпераментно, драматично, с полной отдачей, в нем есть мальчишеская непринужденность, много искренности, порывистости,

наивной веры. Однако акцент, сделанный режиссурой на Луизу (и это — по Шиллеру), несколько нарушил пропорции в сценических взаимоотношениях двух героев. В перипетиях, творящихся вокруг них, она — ведущая сила. Наверное, по праву женского максимализма.

Исполнение молодых актеров указывает на то, что идеальное, возвышенное, действительно способно тесно смыкаться с реальным, земным, нисколько не умаляя при этом своей изначальной сущности.

Особняком стоит в спектакле фигура старика Миллера, отца Луизы. Мастер сценического рисунка, Валерий Ивченко (тонкости рисунка ему не занимать), актер, которому доступны меткие и достаточно приметные сценические затеи (иногда отмеченные «нетовстоноговскими» склонностями), сыграл эту роль утонченно, мягко, но в то же время броско и откровенно небуднично, оставаясь при этом — «на грани». Мастерство проявилось во всем: в шаркающей (но не трафаретно старческой) походке, в пронизывающем взгляде, в котором — ожидание и тоска, настороженность и пытливость, ненависть и гнев; в великой нежности к дочери, в великих надеждах на ее счастье; в ненависти, обретшей характер бунта; в том, наконец, что описанию не поддается, потому что трудно, очень трудно проникнуть в тайну актера — она, тайна, находится «там», в самых глубинах его настороженной и страждущей души. Каким-то чудом она светится неведомо как...

А вот и Президент, а вот и Вурм! В спектакле, да и у Шиллера, это — одна компания, одна бражка, она-то и «вершит свой пир кровопролитный». На этом пиру все чинно и изысканно, учтено и геометрически вычислено. Отменные манеры и неизменность души, надменность речи и ума несовершенство, самовлюбленность и изоциренность в коварстве. Что еще? А то, что оба актера — Кирилл Лавров (Президент фон Вальтер) и Юрий Толубеев (Вурм) используют в своем исполнении не только эти, в общем не столь уж далекие друг от друга приметы в характере своих персонажей, но идут дальше, словно следуя логике, сформулированной некогда Станиславским: «играя старого, ищи, где он молод», «играя злого, ищи, где он добр». Трудно? А как же! Можно сказать, почти невозможно. Попробуй, найди в Президенте и Вурме добрые начала, добро вообще! Но попытка сделана и обернулась удачей. С Вурмом, пожалуй, было чуть полегче, как никак, а чувство к Луизе давало к тому основание. И Ю. То-

лубеев это использовал. Если не доброту, то хотя бы то, что может быть к ней причастно. Ну, скажем... влюбленность — она не состоит в прямой зависимости от сущности человека. И поганый может влюбиться! А это уже в его, Вурма, пользу, значит, способен на что-то красивое, доброе. Но все дело в том, что у людей нормальных с этой способностью неумолимо связано желание делать добро. И прежде всего человеку, тобой любимому. Но с Вурмом — все иначе. Вурм — отклонение от нормы и именно в эти отклонения вписывается его коварство. У Толубеева оно тихое, изысканное, утонченное, словно чуть подслащенное. Этот Вурм одинаково искренен и усерден в любых своих проявлениях. И в подлости, и в любви. В обоих случаях идет напролом. С легкостью, подобающей танцору, проделывает он невероятные витки и головокружительные антраша. Лишь бы достичь цели — по службе и по любви. Так и живет в спектакле Вурм-Толубеев — по двум законам своего бытия. В этом — его гнилая сущность, которая так тщательно и артистично воплощается Ю. Толубеевым. На грани виртуозности.

При всей схожести изначальных позиций («играя злого, ищи, где он добр») в распоряжении К. Лаврова иные пласты. Если Вурм своих привязанностей словно и не пытается скрыть и в обоих случаях максимален настолько, что просто разорваться на части не может, то К. Лавров, играя Президента (ведь он — Президент, а не какой-то там секретаришка ничтожный), обязан скрывать чувства, не давать им волю, уметь ими управлять. Президент Лаврова, словно в броню одетый, закован в латы собственного величия, «расцветченного» лишь изяществом повадок, изысканностью манер, спокойной, плавной, размеренной речью, такой же плавной, исполненной импозантности, поступью и мягкостью. Когда-то П. А. Марков назвал Кирилла Лаврова (если не изменяет память, речь шла о Ниле в «Мещанах») обаятельнейшим актером. В Ниле (по понятиям тогдашнего времени) легко было сохранить обаяние. Гораздо труднее сделать это в Президенте. Какое уж тут обаяние! Но что поделаться с ним, с обаянием, — ведь коли оно у актера есть, так — есть, а если его нет, так нет навсегда.

И вот он, парадокс! В Лаврове-то, в Президенте-то обаяние все равно просвечивает, пробивается сквозь все препоны, чинимые самим артистом. И ничего тут не поделаешь. Должно случиться невероятное, чтобы «выправить» положение, не нарушить логику. И невероятное происходит. Артистизм, с которым играет К. Лавров своего Президента, обращает обаяние

на службу мимикрии. Актер идет как бы «от противного». Обаяние оказывается наигранным, сделанным — Президент должен, обязан быть приятным, милым, обаятельным. Конечно же — мимикрия! И нет, и не может быть сюда доступа живым человеческим чувствам — леденящий взгляд (куда девались милые, добрые глаза Лаврова?), холодок в голосе, надменность, надлежащая сану, который для Президента фон Вальтера дороже всего. Дороже чести, дороже собственного сына. И там, где сан и совесть, сан и честь, наконец, сан и сын поставлены на карту, Президент Лаврова делает скоропалительный выбор. Не раздумывая. Не мучаясь ни совестью, ни честью. Ни благополучием сына. Кульминационная «взрывная» сцена с Вурмом идет в стремительном, бешеном ритме. Меняются манеры, движения, речь Президента, ушла, исчезла импозантность, подтянутость, на их место теперь ворвалась грубость, необузданность — он готов идти напролом. Препград изощренности способов борьбы не существует. И с кем? С собственным сыном! Он для него теперь пешка на шахматной доске. Президент-отец не хочет, не может продешевить. «отдать» просто так — только и непременно с выгодой.

Ищи, где он добр! Да, Вурму, тому действительно легче. Влюбленность, любовь, они многое могут, даже иногда вопреки логике. Президенту сие не дано. Скажем прямо: лишь в финале. Да и то с оговоркой...

И вот он, финал. Сцена прощания с умирающим сыном, последняя в жизни Президента превратность. Пешка свалилась с шахматной доски прямо в отцовские объятия. Фон Вальтер словно окаменел, громких слов не изрекает, слез не проливает. Куда ушла его непреклонность, ожесточение, беспощадность? Теперь он сам так и просится «в пощаду». Сильно потрясение, сильно вдвойне. Президент сражен наповал, оскорблено его, президентское, реноме, его величие. Ему и впрямь негоже проливать горькие слезы, ждать сочувствия. Но есть еще горе отца, словами его не выразить. Да и слезами тоже.

И снова — глаза. Добрые, милые глаза Кирилла Лаврова. В них — бездна отчаяния и бездна любви, обжигающая скорбь и раскаяние, испуг и потрясение — беспросветность.


Обратимся еще раз к поэзии, она и тут поможет осмыслить происходящее:

...Мои руки совсем не опасны —

мои руки

ласкают тебя...

Простите, но мне показалось, что эти строки могли бы



промелькнуть в мыслях фон Вальтера не Президента, нет, не фон Вальтера — Отца, потому что отцовская скорбь, а следовательно, и отцовское прозрение как бы отделяют и отдалают друг от друга две человеческие ипостаси, соединенные актером в одном лице.

Так, в заключительной сцене спектакля взял Кирилл Лавров ту самую высочайшую ноту в партитуре образа, которая пронзительным звуком отозвалась в наших душах.

Но актер следует дальше, не забывает диалектику образа: играя доброго, не обольщайся, ведь он недобр. И Лавров не обольщается. А вот как об этом тот же Поэт.

Где наш враг?

Он лежит

пораженный

справедливой и меткой стрелой.

Допускаю, что именно так мог бы подумать Президент Лаврова, который несмотря на развернутую перед ним бездну, остается при своем, президентском, мнении. Горе Отца отнюдь не идентично беспредельности коварства, которое в крови у Президента фон Вальтера.

Пожалуй, в этом и кроется суть сложного образа, созданного прекрасным артистом нашего времени — Кириллом Лавровым. А о себе скажу: моим любимым артистом.

Путем сложных, филигранных поисков выстраивался и образ леди Мильфорд. Т. Чхеидзе сделал точный выбор: Алиса Фрейндлих. В том неожиданном и далеко не традиционном ракурсе, в котором увидела актриса шиллеровский образ (далеко непросто превратить леди Мильфорд в существо, которое отнюдь не исчадие ада и зла), где утонченное коварство (конечно же и оно существует и притаилось в глубине души) и любовь к Фердинанду сплетены в какой-то странный, причудливый узел. Узел туго закручен и распутать его дано только ей, актрисе, владеющей прекрасным умением вникать в глубины текста и отыскивать там гораздо больше, чем можно предположить. В обиходе это зовется актерской фантазией, на языке профессиональном — мастерством.

Однажды в беседе-интервью об образе Жанны д'Арк, который она так и не сыграла, Алиса Фрейндлих заметила, что в нем, в этом образе, заложен «парадоксальный, немислимый сплав космического и земного». Здесь, в ее леди Мильфорд, тоже есть этот сплав, пусть в иных измерениях и параметрах, но непременно сплав, поданный не столько в шиллеровской манере, сколько в манере Б. Шоу. Упоминание в этом кон-



тексте имени английского драматурга вполне уместно, и можно предположить (но только предположить, не более), что и для Фрейндлих это имело определенный смысл. Возможно, приступая к работе над ролью Мильфорд, актриса обратилась к собственной памяти, но не затем, чтобы искать прямые параллели, а просто так, по принципу ассоциативного мышления. Но так или иначе, а в образе леди Мильфорд совершенно отсутствуют «жирные», «сочные» мазки, густые краски. Скорее — изящная акварель, что весьма неожиданно для этого образа. Быстротечная речь, поданная как бы пунктиром; небрежно летящие с губ слова (такая вот манера говорить у этой взбалмошной леди); особая пластика рук (даже пальцев), милый, надменный, чуть иронический, чуть снисходительный тон и милая, очаровательная, но вызывающая улыбка.

Вот уж поистине и мед в ее речах, и колкая ирония, и женское кокетство, и гордыня, и умение быть властной — в любви, в ненависти, в притворстве, мало ли в чем еще? А за этим — целая жизнь. Космическая и земная.

Да, это женщина. Женщина с головы до пят. Женщина, одержимая, быть может, не столько страстью и любовью, сколько взбалмошным, капризным, дерзким желанием во что бы то ни стало победить. Победить соперницу. Победить Фердинанда. Победить всех, кто на ее пути. И леди Мильфорд дает бой. Порой кажется, что в бою ее интересует не цель, ради которой она борется, а самоцельное желание не быть побежденной — только победительницей! Тщеславие, вот тому определение. Подумать только, даже любовь к Фердинанду для этой леди значит меньше, чем торжество над Луизой!

Я влюблена, она любима,
вот Вам сюжета грозный крен.

Крен действительно оборачивается грозой. В бою с Луизой леди Мильфорд (так задумано актрисой и режиссурой) отнюдь не выглядит победительницей, а лишь пытается повелевать — так диктует текст. А там, «за текстом» — огромная душевная тяжесть, тоска, беда, одиночество. Здесь не помогут испытанные средства — лукавство, изворотливость, притворство, жизненный опыт. Все это наталкивается теперь на чистоту душевную, а именно это — непробиваемо.

Здесь-то и обрывается любовный сюжет. Режиссер ставит точку там, где, казалось бы, все еще впереди и сюжету обрываться рано. Но остались еще политические игры-интриги и в них леди тоже — мастер. Она творит их с королевским изяществом, легко, изощренно, с лукавой улыбкой, которая,



впрочем, не в силах затмить ее блуждающего, нервного взгляда — в нем сквозит смятение и озабоченность, любопытство и настороженность. Даже страх. Она знает: вся эта кажущаяся прочность далеко непрочна. Каждую минуту можно ждать падения в пропасть.

И пропасть разверзлась. Бунт на дорожках любовных остался незамеченным. Бунт в другой — политической ауре — непредсказуем. В спектакле Чхеидзе он завершился арестом. Она уходит в никуда. Босая. И это тоже — протест. Молчаливый, но тоже — бунт.

В одном интервью А. Фрейндлих говорит: «Какая она, моя тема? Может, женское одиночество — во всяком случае играть это всегда было приятно. Вероятно потому, что подобное состояние мне и в жизни близко...»

Тема продолжается, она далеко не исчерпана и вряд ли ее можно исчерпать, да еще, если речь о такой актрисе, как Фрейндлих, Алиса.

Статья написана, осталось назвать всех исполнителей, ведь для каждого из них этот спектакль — история. Округлой мягкостью линий и чувством юмора сверкнул на грани милого шаржа А. Пустохин в роли гофмаршала фон Кальба. Тиха, молчалива, а потому глубоко трогательна Н. Усатова — г-жа Миллер. Легко и с задоринкой играет камеристку Е. Перцева. В небольших ролях предстали актеры Л. Неведомский, А. Фалилеев (капитан полиции), В. Балагин, А. Коптев, О. Погудин (полицейские). Жаль, что не удалось увидеть в роли Мильфорд и вторую исполнительницу, молодую актрису Н. Данилову.

...Спектакль идет к концу. Тяжелый занавес снова, как и в прологе, отсекает сцену от авансцены. Луч света высвечивает фигуры Луизы и Фердинанда. Неподвижно сидят они на стульях у противоположных кулис на авансцене, в той же, знакомой нам по прологу, позе. Как живые.

Режиссеру нужна эта «округлость» замысла не только для того, чтобы запечатлеть в нашей памяти удачно найденную мизансцену-рефрен и показать, что круг замкнулся. Напротив. Поэтический рефрен обретает теперь характер живого символа. Вызванные к сценической жизни, герои знаменуют собой свою вечную жизнь.

...Я уходила со спектакля с чувством неведомой мне доселе гордости. За театр. За его замечательных актеров. За тех, кто создавал спектакль, — за моих земляков, за тех, кто их учил, за Товстоногова, дух которого незримо присутство-

вал в спектакле, за зрителя, который так хорошо и тонко реагировал и наградил спектакль своими аплодисментами. За все!

* * *

Мой учитель П. А. Марков рассказывал, что Немирович-Данченко, говоря о воздействии спектакля на зрителя, считал, что определяющим в этом случае может служить лишь одно обстоятельство: тянет ли его, зрителя, уже после спектакля к размышлениям о нем, хочется ли ему вновь к нему вернуться.

«Коварство и любовь» представляет собой именно такой спектакль. К нему хочется возвращаться, он притягивает. Лично я к этому стремлюсь всей душой. Возможно, исполнится мое желание. Но беспокоит только одно: а вдруг меня снова отправят в верхнюю боковую ложу дирекции?.. Что тогда?..



Роксана АХВЕРДЯН

„Я—Грузия, я—Родина твоя!“

Исполнилось 130 лет со дня рождения великого грузинского поэта и мыслителя Важа Пшавела, автора 36 поэм, среди них таких шедевров, как «Алуда Кетелаури», «Бахтриони», «Гость и хозяин», «Змееед», образцов высокохудожественной лирики, пьесы «Отверженные», рассказов, этнографических, публицистических и критических статей.

Он внес поистине огромный вклад в развитие национальной литературы, занимающей свое особое место в мировом литературном процессе. Самобытная, глубоко национальная поэзия Важа Пшавела, огонь творчества которого был высечен пламенем народного сердца в далеком мире гор и каменных ущелий Пшави и Хевсурети, пронизанная идеями гуманизма и патриотизма, вошла в сокровищницу мировой литературы.

Кроме оригинальных произведений его перу принадлежат переводы поэзии Гейне, пьесы Шиллера «Орлеанская дева», стихотворения Эдгара По «Ворон» и т. д. Среди других выполненных им переводов выделяются «Демон» М. Ю. Лермонтова и «Грузинская греза» А. Н. Кремлева. Они не были случайными в творчестве поэта. Важа Пшавела, как и его великих современников Илью Чавчавадзе и Акакия Церетели, с представителями русской литературы связывали дружеские взаимоотношения. Выражая в своих творениях извечное стремление грузинского народа к свободе и независимости, он в то же время с большим уважением относился ко многим деятелям русской культуры, глубоко сочувствовавшим стремлениям грузинского народа и выступавшим союзниками в общей борьбе против угнетателей и социальной несправедливости. Передовые деятели русской и грузинской культуры были едины, отстаивая свободу, проявляли в этих вопросах полное взаимопонимание и единство цели.

Одним из таких союзников, преданно любящим Грузию, для Важа Пшавела был русский поэт А. Н. Кремлев. Его поэма «Грузинская греза» была непосредственно связана с рево-

люционными событиями начала XX века. В разгар революционных событий 1905 года Важа Пшавела писал о том, что в этот период «прежней жизни пришлось отчитываться перед нашим будущим» — и сам как поэт всегда готов был к ответу перед будущим родины, своего народа. Именно поэтому он и обратился к «Грузинской грезе», в которой отчетливо звучал призыв к подвигу во имя будущего Грузии, во имя того, чтобы была она свободной и цветущей. Этой ответственностью за судьбу отчизны, пронизывающей все творчество Важа Пшавела, и продиктовано его обращение как переводчика к мятежному «Демону», к «Стеньке Разину», к шиллеровской «Орлеанской девице», а также к «Грузинской грезе» Кремлева.

Автор этой поэмы, посвященной борьбе за независимость Грузии, переведенной на грузинский язык Важа Пшавела и напечатанной отдельным изданием в 1909 году в приложении к журналу «Сакартвело», русский поэт, критик и театральный деятель Анатолий Николаевич Кремлев (1859—1919). Начал он как трагический актер, игравший преимущественно роли шекспировского репертуара. Много гастролировал по тогдашней провинции, играл и в Тбилиси. В то время в столице Грузии функционировал русский театр с сильной драматической труппой. Во время своих гастролей на Кавказе и в Тбилиси Кремлев проникся глубокой любовью к Грузии, к ее народу, изучил грузинский язык.

Одновременно с театральной деятельностью он много писал, читал лекции по литературе. Его литературно-критические, публицистические статьи и художественные произведения печатались в «Русской мысли», «Новостях», «Неделе» и других изданиях.

В 80-х годах прошлого века Анатолий Николаевич издал в Казани отдельными книгами свои произведения — «Драматический гений Пушкина. Публичная лекция», 1881; «О тени Гамлета и шекспировской трагедии», 1881; «Газета — явление общественное» (комедия), 1881. Здесь же в 1882 году был опубликован его сборник «Избранные произведения».

С 90-х годов XIX века до конца жизни Кремлев жил в Петербурге, где служил мировым судьей, а затем присяжным поверенным. К тому времени он уже оставил официальную сцену и играл на петербургских частных сценах. Этот весьма образованный человек, свободно владевший английским языком, являлся одним из основателей и деятельным членом англо-русского литературного общества в Лондоне.

На протяжении всей своей жизни он неизменно проявлял большую любовь к Грузии, интересовался грузинской поэзией. На одном из вечеров в Петербурге даже выступил с чтением на грузинском языке стихов Николоза Бараташвили. Высоко ценил А. Кремлев и творчество Акакия Церетели. В 1908 году выступал на его юбилейном вечере в Петербурге, который прошел под девизом «Заслуги Грузии перед христианской культурой», с посвященным ему стихотворением, начинающимся словами: «Сын Иверии, брат поэзии, друг фантазии...»

В отличие от тех реакционно настроенных русских деятелей, которые с целью оправдания колонизации Грузии искажали ее прошлое и настоящее, А. Н. Кремлев рисовал реальное положение страны и выступал за ее независимость.

Его поэма «Грузинская греза», напечатанная в Петербурге в 1908 году, давно стала библиографической редкостью. Мне ее любезно предоставил грузинский ученый С. Лекишвили.

Эта небольшая поэма в четырех частях, пронизанная трепетной любовью к Грузии, ярко переданной в переводе Важа Пшавела, имеет глубоко символический смысл, раскрытый с большой художественной силой.

В образе молодой женщины в ней воплощена благословенная страна — Грузия, а в образе героя — грузинский народ, влюбленный в свою родину и спасающий в суровой борьбе ее жизнь и свободу, честь и достоинство. В поэме воспеваются свободолюбивый дух грузинского народа, что и привлекло к ней Важа Пшавела. И его перевод, прозвучавший в годы после революции 1905 года призывом к борьбе за независимость родной страны, не потерял своей актуальности и по сей день. Вот несколько строк из «Грузинской грезы»:

«О, верю я! Надеюсь! Силы много
 В моей груди хранится для борьбы..
 Мне суждена великая дорога,
 И мне не быть игрушкой судьбы!
 Я лишь на миг, на миг один несчастна,
 Но миг пройдет — и вновь воскресну я!»
 О, как она была в тот миг прекрасна!
 И я спросил восторженно и страстно:
 — О, кто ты, кто, красавица моя?
 «Я — Грузия, я — родина твоя!»



Главный редактор Ромуз МИМНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Равел АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Ананда БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тонгия БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Мари ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромедзе

Сдано в набор 17.07.91 г. Подписано к печати 13.12.91 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 3.500. Заказ 1310. Цена 1 р. 30 к.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло» по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

1 руб. 30 к.

Б 1094

ИНДЕКС 76117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურსაია კრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან